

18+



РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ: СТРУКТУРЫ И БИФУРКАЦИИ



МИХАИЛ ЕЛЬЧАНИНОВ

Михаил Ельчанинов

**Российский социум:
структуры и бифуркации**

«Издательские решения»

Ельчанинов М. С.

Российский социум: структуры и бифуркации /
М. С. Ельчанинов — «Издательские решения»,

Монография посвящена исследованию проблемы циклических социетальных катастроф в русской истории. Автором сформулирована и обоснована новая, структурно-синергетическая теория социодинамики российского социума, позволяющая по-новому рассмотреть роль трансисторических структур и механизм циклических катастроф. В рамках этой теории проанализированы социальные флуктуации и бифуркации, вызванные социальной самоорганизацией. Книга рассчитана на учёных, размышляющих над уроками русской истории.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ	11
1.1. Классическая парадигма	14
1.2. Неклассическая парадигма	29
1.3. Постнеклассическая парадигма	37
2. ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ	47
2.1. Географический подход	48
2.2. Исторический подход	55
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Российский социум: структуры и бифуркации

Михаил Семёнович Ельчанинов

© Михаил Семёнович Ельчанинов, 2026

ISBN 978-5-0070-5653-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящается

светлой памяти моих родителей:

Семёна Николаевича

и Марии Михайловны

Ельчаниновых

ВВЕДЕНИЕ

Крах мировой системы социализма, распад СССР, гонка вооружений, террористические атаки, планетарный экологический кризис, локальные войны, а также другие всемирные риски и угрозы свидетельствуют о том, что глобальная бифуркация — объективная перспектива мирового социума, хотя конкретные очертания будущего далеко не ясны. Но совершенно очевидно, что человечество стремительно втягивается в водоворот нарастающей глобальной турбулентности. Экзистенциальные риски, связанные с технократической практикой и гедонистической моралью, дестабилизируют социальный мир, и будущее человека становится неопределённым, неустойчивым и проблематическим. Алгоритмы и правила, характерные для стабильного общества, перестают действовать с прежней пользой и результативностью, часто вызывая эффект бумеранга. Катастрофические перемены и метаморфозы, произошедшие в постсоветской России, радикально трансформировали структуру и содержание жизни преобладающего большинства россиян. Советские люди внезапно оказались в сумбурном капиталистическом мире, где исчезла привычная определённость, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Несмотря на чудовищные издержки, капитализм в настоящее время торжествует, но локальные и глобальные вызовы нарастают, усложняя задачи российской трансформации. Это, в свою очередь, требует глубокого научного осмысления социодинамики российского общества, прежде всего на переломных этапах русской истории.

Социальные науки пытаются ответить на вызовы нестабильной, рискованной эпохи, но делается это, как правило, в рамках ортодоксального консенсуса в социологическом мейн-стриме. Традиционными объектами социологии выступают линейные и равновесные процессы, тогда как нелинейные, синергетические метаморфозы довольно редко оказываются в исследовательском фокусе. Поэтому изучение кардинальных общественных изменений особенно актуально в наше время, когда и мировое сообщество, и российский социум утрачивают свойства стабильности, равновесия и устойчивости, демонстрируя нелинейные тенденции и эффекты. Темпы исторических перемен резко возрастают, и поэтому опасные альтернативы будущего уже присутствуют в мировом социальном пространстве. Никто уже не сомневается, что современное человечество столкнулось с проблемой эскалации локальных рисков и катастроф, которые наглядны и очевидны, но главная угроза — глобальная бифуркация — нас ожидает впереди. Риски и угрозы, возникающие в нестабильном мировом социуме, могут спонтанно перерасти в планетарную катастрофу, чрезвычайно опасную для всех стран и народов. Однако мы надеемся на привычный исторический опыт, не осознавая, что он не соответствует глобальному масштабу катастрофической перестройки современного человечества. Мы ориентируемся в быстро меняющемся мире с помощью старых знаний, ценностей и норм, не отвечающих нелинейным социальным изменениям. В любом случае локальный культурный опыт не может вооружить нас адекватными эмпирическими знаниями о турбулентных проблемах глобальной бифуркации. Соответственно, в текущий момент традиционная локальная стратегия, даже подтверждённая историческим опытом, крайне опасна.

В условиях нарастающей глобальной нестабильности нужны новые теоретические знания, идеи, концепты и установки, сообразные острейшим проблемам современности. Особое значение приобретает научное знание о социальном хаосе, который нарастает и в мировом сообществе, и в российском социуме, выступая как отличительное свойство эпохи глобальной бифуркации. Эскалация хаотических тенденций в современном мире и России — объективный факт, вызывающий мрачные, алармистские настроения и страхи. Возможности рационального влияния на ход глобального кризиса человечества ещё сохраняются, но с каждым днём они необратимо уменьшаются.

Глобальная ситуация в первой четверти XXI века и исторический опыт, особенно прошлого столетия, свидетельствуют, что общественное развитие носит многолинейный характер. Линейная логика лиц, принимающих решения и действующих в неустойчивой ситуации, вызывает непредвиденные последствия, весьма опасные для любой социетальной системы. Так, например, российская модернизация в период новейшей истории ознаменовалась беспрецедентным социальным экспериментированием, которое вопреки оптимистическим ожиданиям и прогнозам обернулось катастрофами как в начале, так и в конце XX века. Одностороннее и линейное мышление в политике крайне опасно не просто серьёзными проблемами, но и катаклизмами, характерными для российского государства. Действительно, Россия — огромная страна, существующая в суровых природных и геополитических условиях, которые постоянно создают труднопредсказуемые опасные угрозы. Изучение социодинамики российского общества осложняется не только этими специфическими условиями, но и нелинейными свойствами и эффектами российского исторического процесса. Опыт реформирования постсоветской России свидетельствует, что теория линейного развития [17; 83; 386], теория модернизации [22; 169; 263; 281], социокультурная теория развития [15; 16], теория общества риска [426], концепция современной России как феодального общества [410] и другие описывают и объясняют некоторые аспекты российской трансформации, но многое остается неясным. Так, например, позитивные оценки и прогнозы в период перестройки совершенно не соответствовали её финальной действительности — распаду СССР. Радикальные реформы времён Б. Н. Ельцина также демонстрировали иронию истории — вместо рыночного процветания Россия столкнулась с экономическим спадом и резким понижением жизненного уровня подавляющего большинства населения. Авторитарная политика В. В. Путина внушила большие социальные иллюзии, но неофеодальная модель государственного капитализма по-прежнему вызывает отставание России от развитых стран на фоне долготерпения и пассивности российского народа.

Таким образом, теории социального развития, разработанные в рамках западной социологии, оказались неспособными дать убедительное объяснение и понимание капиталистической трансформации в постсоветской России. Соответственно, весьма актуальной становится проблема разработки новых исследовательских подходов к анализу нелинейных социально-исторических процессов. Многовариантность общественного развития в точке бифуркации крайне затрудняет понимание будущей социальной реальности. Ни линейные, ни циклические, ни формационные модели и теории не смогли предвидеть крах мирового социализма, СССР и тем более негативные результаты постсоциалистической модернизации на постсоветском пространстве. Именно поэтому так важно критически оценить социальные теории, которые, столкнувшись с ошеломляющими социальными переменами, не смогли оправдать свои эпистемологические претензии на универсальность.

Исследование социодинамики российского общества также осложняется серьёзным противоречием между социальными изменениями и социальными структурами, которое носит исторический характер. Как отмечает А. В. Жданко, «динамика (эволюция) общества в ходе исторического процесса порождается статикой, т. е. структурами и функциями... а структурно-функциональные характеристики, в свою очередь, оказываются следствием динамического преобразования общества в предшествующий период истории...» [134, с. 126—127]. Эта диалектика истории создаёт большие трудности для научного исследования. Рассматривая общество в статическом аспекте, социологи исследуют его структурно-функциональные характеристики, но при этом они абстрагируются от социальной динамики, которую изучают историки. В свою очередь историческая наука исследует социальную (историческую) динамику, но игнорирует соответственно социальную статику, которая является предметом социологии. Пока не удаётся разработать универсальную социальную теорию, способную интегрировать социальную статику и социальную динамику.

Кризис современной теоретической социологии, таким образом, очевиден, особенно в области исследования социальных изменений. На мой взгляд, выход из этой затруднительной ситуации вполне возможен, и он связан в первую очередь с тем, что нужно разработать новые теории, концепции и модели, позволяющие сменить исследовательскую стратегию по отношению к структурным перестройкам российского общества, включая социетальные бифуркации. Спонтанные поиски наиболее рационального варианта модернизации российского социума, в которых превалирует метод проб и ошибок, уже обернулись системным кризисом и социальной деградацией основной массы россиян. Несмотря на попытки правящего класса стабилизировать социально-политическую и экономическую ситуацию, локальные риски, кризисы и катастрофы демонстрируют тенденцию к экспансии в масштабе всей страны. Острейший вопрос о структурной перестройке кризисного российского социума сохраняет своё актуальное теоретическое и прикладное значение. Это особенно важно в наше время, когда Россия столкнулась с экономическим кризисом, санкциями западных государств, убийственным витком гонки вооружений, гибридной войной НАТО, угрозой ракетно-ядерной войны и другими неблагоприятными страновыми и международными обстоятельствами.

Однако социология социальных изменений в основном игнорирует проблему социального хаоса и альтернативности, неявно разделяя иллюзию классической социологии о возможности полной рационализации общественной жизни. Традиционные социологические методы и концепции оказались нерелевантными для анализа нелинейных социальных изменений, особенно в бифуркационный период. Как показывает опыт русской истории, социетальные бифуркации были совершенно неожиданны и разрушительны, причём для них не удаётся найти убедительные объяснения в контексте социологического мейнстрима. Следовательно, крайне важно разработать новые подходы к исследованию социетальных бифуркаций, адекватные драме модернизации России. Иначе говоря, нужна новая социальная теория, позволяющая более точно описать и объяснить: почему радикальные реформы в российском обществе завершаются катастрофической перестройкой.

Тема социальной самоорганизации, несмотря на отдельные успехи, присутствует в общественном сознании эпизодически, и в целом социосинергетика представляет собой недостаточно изученную область, хотя в социологических исследованиях делаются попытки рассмотреть взаимодействие социального порядка и социального хаоса. По мнению В. П. Бранского, «хотя синергетический подход к социальным явлениям завоевал в последней четверти XX века широкую популярность, тем не менее пока он во многих случаях не выходит за рамки философской публицистики» [45, с. 148]. В настоящее время в социологии отсутствует единое понимание социосинергетики, и задача создания интегральной модели эволюционного и бифуркационного процессов в российском социуме остаётся нерешённой. Это, в свою очередь, пробуждает научный интерес к социально-синергетической тематике, и в общественном сознании всё больше исследований посвящается проблематике социального хаоса и альтернативных социальных изменений. Синергетические категории и понятия активно проникают в социально-гуманитарные науки, и поэтому исследование теоретических и прикладных аспектов социальной синергетики и кардинальной трансформации российского общества представляет особый интерес.

Следует отметить, что сегодня недостаточно повторять известные синергетические понятия и установки, тем более что такое гелертерство во многом носит модный характер и не имеет никакого отношения к науке. Более перспективным выглядит подход, который предполагает развитие социальной синергетики с помощью её творческого обогащения комплементарными идеями. В частности, новые эвристические возможности, на мой взгляд, открывает структурно-синергетический подход, развиваемый автором в ряде научных статей и монографий [126; 128; 131; 132; 133].

Социальная синергетика как новая социально-научная парадигма интегрирует теорию диссипативных структур, теорию хаоса, нелинейную динамику и теорию катастроф и фокусирует внимание на том, чтобы выяснить закономерности и случайности развития социальной системы. Прежде всего социосинергетика исследует процессы самоорганизации в сложных открытых социальных системах, представляющие собой нелинейное взаимодействие социального порядка и социального хаоса. Под влиянием случайных флуктуаций такие системы становятся неустойчивыми и способны, благодаря социальной самоорганизации, перейти в качественно новое состояние. Социосинергетика делает акцент на тех аспектах социальной реальности, которые в классических и неклассических теориях рассматриваются как второстепенные и случайные, хотя в кризисной ситуации, особенно в момент бифуркации, они могут сыграть решающую роль в бифуркационной социодинамике.

Таким образом, социально-синергетические понятия и принципы действительно новы и необычны по сравнению с классическими и неклассическими представлениями о развитии общества. Как верно отмечают С. П. Курдюмов и Е. Н. Князева, в качестве новой научной парадигмы «синергетика важна прежде всего своим методологическим содержанием...» [181, с. 41].

Тем не менее социальная синергетика уделяет недостаточное внимание структурным факторам, доминирующим на эволюционной стадии развития социума. Поэтому социосинергетику следует дополнить концепцией трансисторических структур, и это, с моей точки зрения, будет способствовать развитию и углублению социально-научного познания. В частности, интегральная структурно-синергетическая теория более точно, чем линейные концепции, описывает и объясняет бифуркации в российском обществе. В контексте этой теории самоорганизация российского социума предстаёт как нелинейный социетальный процесс, который обусловлен противоречивым взаимодействием акторов, трансисторических структур и внешней среды. В историческом аспекте социодинамика российского общества проявляется в форме дискретного социального процесса, характеризуемого чередованием этапов эволюционного и бифуркационного развития. В период эволюционных изменений фундаментальную роль в формировании общества играют трансисторические структуры, которые на протяжении длительного времени стабилизируют российское государство, но одновременно способствуют возникновению нелинейных социальных флуктуаций. В момент же социетальной бифуркации решающее значение приобретают решения и действия политических акторов, а роль трансисторических структур временно уменьшается.

В общем, структурно-синергетическая теория социодинамики России интегрирует теоретико-методологические идеи социосинергетики, социальных наук, философии и географии и носит междисциплинарный характер, позволяющий рассмотреть развитие российского общества в специфическом ракурсе. Социосинергетика акцентирует внимание в первую очередь на бифуркационных процессах, тогда как структурно-синергетическая теория — на трансисторических структурах и социетальной бифуркации. Такой подход даёт возможность исследовать социально-экономические, политические и ментальные процессы в российском социуме, в которых фундаментальную роль играют трансисторические структуры, и в то же время выяснить нелинейные социальные изменения в период бифуркации, когда решающую роль играет субъективный фактор.

Научные результаты, полученные в ходе этого исследования, крайне важны для реформаторов, которые осуществляют реформы в изменчивой ситуации. В точке бифуркации малые флуктуации становятся триггером радикальных перемен как в локальном социуме, так и мировом сообществе. В этих условиях высоки риски социетальной катастрофы, и, чтобы компетентно предотвратить катастрофический сценарий, нужны социально-синергетические знания, идеи, стратегии и методы, релевантные для предупреждения экзистенциальных угроз. Следует особо подчеркнуть, что гуманное системное реформирование мирового социума возможно

только на основе новых знаний, структур, ценностей и норм, способных стать новым, глобальным гуманитарным аттрактором.

Таким образом, данное исследование свидетельствует, что анализ социодинамики российского общества с позиций структурно-синергетической теории позволяет получить нетривиальные научные результаты.

1. ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ

Что значит знать?

Вот, друг мой, в чем вопрос.

И. В. Гёте

Важную роль в научном познании играет парадигма, позволяющая научному сообществу сконцентрировать своё внимание на решении тех проблем, которые явно или неявно ею предсказаны. Американский философ Т. Кун определил парадигму как «признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» [203, с. 17]. В период нормальной науки парадигма направляет выбор проблем, фактов и теорий, формирует теоретико-методологические ориентации учёных, которые входят в конкретное научное сообщество, и определяет направление и границы возможного в научном исследовании. В то же время возникают и накапливаются различные аномалии, которые невозможно объяснить в рамках господствующей парадигмы. Критическая концентрация аномалий вызывает кризис данной парадигмы, который разрешается посредством научной революции, означающей переход научного сообщества к новой парадигме. В связи с этим Т. Кун писал: «...научные революции рассматриваются... как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой» [203, с. 129].

В советскую эпоху в отечественном обществоведении доминировала марксистско-ленинская парадигма, но она была серьёзно дискредитирована крахом СССР и реального социализма. В постсоветский период социальные науки оказались в полипарадигмальном состоянии, когда ни одна парадигма не преобладает однозначно, а соперничество различных подходов и школ становится обычным явлением в интеллектуальной жизни научного сообщества. Несомненно, методологический и теоретический плюрализм лучше идеологического догматизма, поскольку плюралистический подход, благодаря интеллектуальной конкуренции, хорошо стимулирует развитие общественной мысли. Это позволяет рассматривать проблемы социальной теории в новом исследовательском ракурсе, позволяющем интегрировать идеи и концепции западной социологии в рамках постнеклассической парадигмы.

Согласно точке зрения Г. В. Осипова, в начале XXI века социология имеет многовариантный, полипарадигмальный статус. Как он пишет, «теоретическая ситуация в социологии в самом общем виде характеризуется теоретическим плюрализмом, разнородностью теоретических ориентаций, двумя противоположными тенденциями в социологическом мышлении — к дивергенции и интеграции» [343, с. 75]. В современной социологии, по его мнению, фактически существуют четыре парадигмы: парадигма социальных фактов, парадигма социальных дефиниций, парадигма социального поведения, парадигма социально-исторического детерминизма [282, с. 74]. Учитывая теоретический плюрализм в социологическом знании, он указывает на возможность формирования ещё двух парадигм — парадигмы «социального порядка» (Дж. Тернер) и «интегративной социальной парадигмы» (Дж. Ритцер).

По мнению Ж. Т. Тощенко, парадигмы представляют собой основу методологических стратегий социолога. В современной социологической науке реально функционируют три парадигмы и соответственно три методологические стратегии: социологический номинализм, социологический реализм, социологический конструктивизм [360, с. 6—7, 12].

Исследуя проблему парадигмы в социологии, В. П. Култыгин предлагает методологический критерий их классификации. В соответствии с этим критерием он выделяет следующие социологические парадигмы: натуралистическую (методы естественных наук), интерпретиру-

ющую (методы понимающей социологии) и оценивающую (методы социальной критики) [198, с. 468—469].

Согласно точке зрения Ю. Г. Волкова и И. В. Мостовой, в процессе развития социологии сформировались три методологические традиции, или парадигмы: классика, модерн, постмодерн [79, с. 55]. Судя по всему, эта теоретическая схема развивается под сильным влиянием идей и аллюзий постмодернизма.

Классифицируя социологические теории с помощью парадигмального критерия, В. Г. Немировский выделяет шесть парадигм: парадигму социальных фактов, парадигму социальных дефиниций, парадигму социального поведения, парадигму психологического детерминизма, парадигму социально-исторического детерминизма, универсумную парадигму [266, с. 40—41, 82]. Современный этап развития социологии, по его мнению, характеризуется кризисным состоянием социологической теории. Сущность кризиса заключается в переходе от классических теорий к социологии модерна, постмодерна, интегралистским и универсумным (постнеклассическим) теориям. Особое внимание он уделяет универсумной парадигме, которая, с его точки зрения, является одним из важнейших оснований постнеклассической социологии. Центральной проблемой универсумной парадигмы выступает проблема социального субъекта и его среды, предметом исследования — эволюционирующий посредством человека социум в единстве его природных, социальных, духовных связей и проявлений [266, с. 42, 84, 85].

По отношению к вопросу о мультипарадигмальности в социологии Дж. Масионис занимает особую позицию, которая существенно отличается от других. По сути, это американоцентрическая позиция, фокусирующая основное внимание только на тех подходах, которые доминируют в американской социологии. По его определению, «теоретическая парадигма — исходный образ общества, который направляет ход мышления и исследования» [241, с. 42]. В социологии, с его точки зрения, имеются три основные парадигмы: структурно-функциональная парадигма, парадигма социального конфликта и парадигма символического интеракционизма [241, с. 42].

Исследуя проблему мультипарадигмальности в социологии, Дж. Ритцер выявляет три основные парадигмы: парадигму социальных фактов, парадигму социального определения, парадигму социального поведения [312, с. 571—572]. Он поднимает вопрос о более целостной социологической парадигме, основанием для которой, с его точки зрения, должны служить уровни социального анализа. Рассматривая модели сочетания макро- и микроконтинуума, объективного и субъективного континуума, Дж. Ритцер различает четыре уровня социальной реальности (макросубъективный, макрообъективный, микросубъективный, микрообъективный), подлежащих анализу в рамках интегрированной социологической парадигмы [312, с. 578—581].

В ходе анализа проблемы социологических парадигм В. А. Ядов использует термин «метaparадигма». Соответственно он выделяет три основные метaparадигмы: классическую, постклассическую (модерн), постпостклассическую (науку нашего времени) [421].

В свою очередь С. А. Кравченко различает не три, а пять типов социологической метaparадигмы, соответствующих пяти поколениям социологических теорий: позитивистскую метaparадигму, интерпретативную метaparадигму, интегральную метaparадигму, рефлексивную метaparадигму модерна, нелинейную метaparадигму постмодерна [195, с. 9—11].

Сравнивая подходы социологов к пониманию и трактовке метaparадигмы, Г. Е. Зборовский предлагает свою классификационную схему, в которой он выделяет пять метaparадигм, сложившихся в теоретической социологии, — классическую, неоклассическую, постклассическую, неклассическую, постнеклассическую [137, с. 3—15]. При этом он обращает внимание социологов на то, что с логической точки зрения понятия парадигмы и метaparадигмы иногда используются некорректно. В ряде случаев происходит смешение или отождествление

понятий парадигмы и метапарадигмы [137, с. 7]. По сути, это игра слов, довольно любопытная в лингвистическом аспекте, но диссонирующая с фундаментальным принципом простоты («бритвой Оккамы»). Тем не менее многие социологи довольно охотно занимаются подобными семантическими играми. На мой взгляд, использование термина «метапарадигма» вместо термина «парадигма» носит схоластический характер, и ссылки на социологическую литературу, в которой под метапарадигмой понимают в ряде случаев интегральную социологическую парадигму, совершенно неубедительны.

Несмотря на то что эти классификационные схемы, предлагающие разнообразные варианты, очень любопытны, приходится, в конце концов, констатировать, что выделение парадигм в социологии происходит в известной степени произвольно. Социологи могут выделить три, четыре, пять и более парадигм, но совершенно непонятно, по какому критерию производится эта аналитическая процедура. Концепциям социологических парадигм, рассмотренных мною выше, не хватает научно-теоретического обоснования, так как схемы классификации создаются в зависимости от субъективной точки зрения конкретного автора. Однако индивидуальные оценки изменчивы и различны, следовательно, их, как того требует методология научного мышления, нужно подкрепить теоретическими доводами. В целом анализу проблемы социологических парадигм недостаёт философско-методологической глубины, поскольку социологи не учли в полной мере достижения в области философии науки. Конечно, эта проблема нуждается в более основательном концептуальном подходе к исследованию типов рациональности, тем более что последние прямо связаны с вопросом разработки научно фундированных социологических парадигм. Это особенно важно, если учесть, что во всех парадигмальных схемах отсутствуют ясные и чёткие критерии различения классической, неклассической и постнеклассической рациональности.

Напротив, в истории и философии науки проблема рациональности исследуется давно, начиная с античного времени. Сегодня имеются весьма интересные концепции научных революций, в ходе которых происходит смена исторических типов рациональности. Наиболее развитую теорию научных революций, на мой взгляд, сформулировал В. С. Стёпин, который в 1987 году предложил различение классической, неклассической и постнеклассической рациональности [351, с. 505]. Переход от одного типа рациональности к другому осуществляется в результате научной революции. Согласно его определению, «научная революция — радикальное изменение процесса и содержания научного познания, связанное с переходом к новым теоретическим и методологическим предпосылкам, к новой системе фундаментальных понятий и методов, к новой научной картине мира, а также с качественными преобразованиями материальных средств наблюдения и экспериментирования, с новыми способами оценки и интерпретации эмпирических данных, с новыми идеалами объяснения, обоснованности и организации знания» [275, с. 34]. Следовательно, попытки разработать парадигмальные схемы в социологии вряд ли будут конструктивными без учёта концепции классики, неклассики и постнеклассики, получившей широкое применение в методологии естественных и социально-гуманитарных наук.

1.1. Классическая парадигма

На протяжении всей своей истории, особенно начиная с первой научной революции, наука демонстрировала яркий триумф человеческого разума, вдохновлённого прогрессистскими установками. Однако в XX в., особенно во второй его половине, когда развитие техногенной цивилизации породило беспрецедентные глобальные проблемы, социальная роль современной науки стала подвергаться сомнению и критике. Как указывал Р. Нисбет, «бунт против рационализма и науки, культивирование иррационализма в разнообразных формах, религиозных и светских, и поразительный рост субъективизма, озабоченности своим „я“ и своим удовольствиями — все это отличается, по крайней мере, по своим масштабам от всего того, что Запад знал раньше» [270, с. 33—34]. Безграничная вера в научные знания и преобразовательные возможности человеческого разума сменилась скептицизмом, антисциентизмом и нарастающей критикой классического рационализма, который изначально содержал в себе механистические и технократические интенции.

Представления о научности в области социальных и гуманитарных знаний были сформулированы по образцу ньютоно-картезианской физики, провозгласившей в Новое время «свои четыре великие новации: количественное описание природы; её механистическое моделирование; разделение человеческого опыта на сферу обыденного знания и научное знание; секуляризацию природы» [393, с. 44]. Механистическое понимание общества включало в себя идею редукции знаний о нем к фундаментальным принципам и представлениям классической механики. В ньютоно-картезианской парадигме конституировались такие философские и методологические принципы, как рационализм, механицизм, детерминизм, редукционизм, объективизм, линейность, монизм и другие, которые определяли цели и методы научного познания. Классический рационализм исходил из того, что научные принципы, сформулированные в рамках естественных наук, соответствуют природе. Согласно точке зрения С. Тулмина, «неизменный разум господствует над неизменной природой согласно неизменным принципам. Реальным был лишь вопрос: каковы эти неизменные принципы?» [364, с. 36]

В свою очередь, знание этих принципов и законов давало человеку силу и власть над всем, что его окружало, прежде всего — над природой. Научные знания внушали надежду, что можно воссоздать все процессы и события, происходившие в прошлом, и предсказать всё, что случится в будущем. Умами учёных надолго овладела идея о том, что процессы и явления в объективном мире определяются законами ньютоновской механики. В ней мыслители видели ключ к тайнам всего мироздания, и поэтому общенаучная картина мира имела механистический характер. Классический рационализм постулировал, что наука должна иметь дело только с количественными феноменами. Философской основой классического естествознания стал механицизм. В соответствии с его универсальными идеями строилась и механистическая картина мира.

Так, обобщённым образом Космоса в этой картине мира служит гигантский часовой механизм, в котором все состояния и изменения строго закономерны. Время и пространство никак не связаны с движением тел и имеют абсолютный характер. Пространство имеет три измерения и не зависит от материи. Время не зависит ни от пространства, ни от материи. В таком Универсуме события и процессы представляют собой совокупность взаимосвязанных причин и следствий, и поэтому теоретически возможно воссоздать прошлое или предсказать будущее достаточно точно. Другими словами, развитие обусловлено непреложными законами, и цель классической науки состоит в том, чтобы выявить их в ходе исследования. Методологической основой научного познания является стремление свести сложное к простому. Математико-экспериментальная механика рассматривает природу с точки зрения объективизма, редуцируя её к упрощённым схемам. Объективизм точных наук, в свою очередь, исключает

всякую субъективность, признавая подлинной реальностью только вещественный Универсум с его детерминистическими законами. В результате новоевропейская наука утратила всякую связь с человеком, смыслом и ценностями человеческого бытия [110, с. 140]. Представление о механической обусловленности природных феноменов проникло и в сферу социально-гуманитарных знаний. «Мир качеств, значений, целей заменяется миром исчисляемым и потому поддающимся математическому анализу, в котором нет и следа свойств, ценностей глубины» [309, с. 207]. Таким образом, идеи и принципы механицизма представляли собой не только физическую, но и философскую программу, суть которой заключалась в том, чтобы свести объяснение Универсума к механическому взаимодействию его элементов.

Во время научной революции XVII века социокультурный идеал науки претерпел изменения, и знание перестало рассматриваться как основа мудрости. Целью классической науки стало рационалистическое знание как сила, которую можно использовать для господства над природой и обществом. Например, Т. Гоббс рассматривал государство в качестве большого искусственного человека — Левиафана, функционирующего как механизм, или механическое соединение отдельных людей, сумма которых представляет колоссальную силу, подчинённую, однако, законам классической механики [99, с. 6]. Классическая парадигма социального знания формировалась под сильным влиянием классической физики, и социальный механицизм получил в общественном сознании широкое распространение. В свою очередь, успехи биологии с эволюционной теорией Ч. Дарвина способствовали возникновению и активному развитию в общественных науках социального биологизма. Социальный механицизм и биологизм описывали и объясняли явления и процессы в обществе, которое считалось составной частью природы, с позиций естествознания. Поэтому законы общественного развития интерпретировались как естественно-научные, а социальные науки строились по образцу естественных наук.

Наиболее полно и отчётливо классическая парадигма социального знания была представлена в позитивизме, который проявился в таких направлениях, как органицизм, эволюционизм, социальный дарвинизм, механицизм, географический детерминизм, расово-антропологическая школа. Поиски закономерностей общественного развития отвечали научной логике, но различные направления позитивизма объясняли жизнь общества действием соответствующего единственного фактора. Так, например, органическое направление рассматривает общество как организм; в социальном дарвинизме главным фактором социальной эволюции считается борьба за существование и естественный отбор; географическое направление признаёт основой общества географическую среду и пространственное размещение людей; расово-антропологическое направление особое значение приписывает влиянию расовых черт и наследственности человека на социальные явления и процессы, и т. д. Попытки рассматривать общество с естественно-научных позиций приводит к односторонней натурализации социальных факторов и появлению редукционизма, сильно упрощающего понимание сложных, многозначных явлений общественной жизни.

Позитивизм провозглашает фундаментальный тезис о единстве метода всех наук. Позитивистский подход основывается на посылке о единообразии, повторяемости и исчислении элементов, которые являются основой социальных процессов и явлений. В позитивистском общественном сознании начинают применять такие эмпирические методы естественных наук, как метод наблюдения, метод эксперимента, метод сравнения [310, с. 194]. Социальные науки, провозглашая свою независимость от аксиологических суждений, исключают морально-этические аспекты человеческого существования из эпистемологического анализа. Характерное для позитивизма стремление к объективному знанию, основанному на количественных и статистических методах исследования, приводит к появлению проектов преобразования общества посредством власти, которая претендует на обладание абсолютным знанием. Необходимо было лишь выявить и точно сформулировать законы социальных изменений, способные обеспечить стабильное и инновационное развитие общества как системы порядка и прогресса.

Общество представляется как замкнутая, статичная социальная система, в которой преобладают жёсткие связи и стабильные параметры, обеспечивающие устойчивое социальное равновесие. В качестве предмета исследования выступают стабильные, устойчивые, повторяющиеся процессы и явления в обществе. Классическая социология основное внимание уделяет исследованию стабильности социума, тогда как проблеме социодинамики рассматривает как нечто вторичное, в основном с точки зрения сохранения социального порядка. Социальные процессы развиваются линейно, поступательно, безальтернативно и определяются объективными факторами, которые играют доминантную роль. Функционирование и развитие человеческого общества обусловлено однозначными причинно-следственными отношениями, что позволяет делать прогноз о его будущем состоянии. В ходе исследования социума преобладает поиск равновесия, которое является условием и социального порядка, и социального прогресса. Натурализация общества означает, что методы естествознания также применимы в сфере социальных наук [310, с. 190]. Особое значение приобретает такая методологическая установка, как эмпирический сбор и систематизация данных, позволяющие получать объективные, достоверные знания о социальных явлениях и процессах.

В рамках классической рациональности признаётся приоритет порядка перед хаосом, который рассматривается как начало, враждебное человеку и культуре. Случайность как отдельное событие или проявление свободной человеческой воли исключается в той или иной форме либо рассматривается как проявление и дополнение объективных закономерностей истории. Во всяком случае, случайность не признаётся как самостоятельный и важный фактор социальных процессов. Человек выполняет свою социальную функцию как средство осуществления великой цели. Поэтому свобода ограничивается познанной необходимостью, которая имеет непреложный характер. Случайность отвергается как стохастическое условие альтернативности, способное оказать значительное влияние на возможность выбора исторической альтернативы.

Итак, в центре классического понимания социума находится стабильная социальная система, управляемая объективными законами общественного развития. Открытие этих законов помогает обеспечивать социальный порядок и прогресс, корректируя дисгармоничные общественные отношения. Такой подход к исследованию общества предполагает определённые методологические принципы: объективизм, детерминизм, монизм, универсализм [327, с. 233].

Содержание объективизма выражается в признании существования независимых от человека законов развития общества и истории. Объективные структурные аспекты социума исследовал французский социолог Э. Дюркгейм (1857—1917), который в противоположность социальному номинализму развивал идеи социального реализма. Согласно его концепции, общество возникает как результат взаимодействия индивидов, но является самостоятельной социальной реальностью и развивается по своим собственным законам. «Если... мы утверждаем, — писал Э. Дюркгейм, — что социальная жизнь естественна, то это не значит, что мы находим источник её в природе индивида. Это значит только, что она прямо вытекает из коллективного бытия, которое само по себе является реальностью *sui generis*» [123, с. 137]. Общество, таким образом, является специфической социальной реальностью, имеющей приоритет перед индивидом, его сознанием и поведением. Индивиды входят в состав общества, но общество — это система, образованная в результате взаимодействия не индивидов, а социальных групп. Изолированных друг от друга людей нет, так как индивиды входят в различные общности. Индивиды как представители определённой социальной группы подчиняются принудительной власти общества. Элементами общества являются социальные факты, которые существуют объективно и оказывают социальное принуждение по отношению к индивидам. В свою очередь индивиды выражают идеи, верования и чувства, свойственные коллективному сознанию общества. По мнению Э. Дюркгейма, для исследования социальных фактов

следует использовать объективные методы, принятые в естественных науках. Как он отмечал, «первое и основное правило состоит в том, что социальные факты нужно рассматривать как вещи» [123, с. 40]. Классическая социология изучает социальные факты объективно, как нечто данное извне и, следовательно, независимое, отделённое в своём существовании от исследователя. Поэтому общество, которое существует как объективная социальная реальность особого рода, можно наблюдать, анализировать, измерять происходящие в нем изменения, сравнивать и прогнозировать его будущее развитие. При таком подходе общественные науки абстрагируются от многих сложных социальных явлений и процессов, особенно хаотических, так как их очень трудно или вообще невозможно изучать в количественном аспекте.

В рамках классической рациональности детерминизм является фундаментальным принципом научного познания. На взгляд Л. Мизеса, «поиск знания всегда касается взаимной связи событий и познания факторов, вызывающих изменения. В этом смысле и естественные науки, и науки о человеческой деятельности подчинены категории причинности и детерминизму» [245, с. 72]. В различных вариациях детерминизма признается объективная закономерность и причинная взаимообусловленность всех явлений природы и общества. Детерминизм представляет собой методологический принцип классической парадигмы социального знания. Он (детерминизм) означает наличие причинно-следственных связей, благодаря которым возможно понимание социума как целостного, законченного образования, подчинённого объективным социальным законам.

Принцип монизма, преобладающий в классической парадигме обществознания, связан с вопросом о факторах общественного развития. Общество представляет собой сложную социетальную систему, которая функционирует и развивается под воздействием различных факторов, — экономики, политики, культуры, техники, природы и т. п. В этой ситуации возникает вопрос: что является основой и движущей силой развития общества? В истории социально-гуманитарных наук давались различные ответы, которые можно объединить в рамках двух подходов — монизма и плюрализма. Монизм означает, что из множества факторов выделяется, как правило, какой-нибудь один, который объявляется решающим фактором социально-исторического развития. Напротив, плюрализм предполагает, что развитие общества определяется взаимодействием множества факторов [325, с. 260].

Наконец, универсализм как методологический принцип проявляется в стремлении создать всеобщие модели и схемы исторического развития, пригодные для всех времён и народов. Социологический универсализм утверждает, что общество — это нечто единое и целостное для всех представителей человеческого рода. Социальное есть не просто некая совокупность индивидов, а типичная надындивидуальная основа, характерная для всех разновидностей обществ, созданных людьми на земном шаре. Общество существует как универсальный социальный феномен. Социология имеет дело не с обществами, а с единым, цельным обществом, а его вариантам присущи лишь специфические черты. Хотя общества отличаются друг от друга определёнными особенностями, все они едины в своей универсальной сущности. Общество — универсальная надындивидуальная социальная реальность, и поэтому под объектом социально-исторических изменений подразумевается всё человечество, которое подчиняется единой логике истории.

Согласно точке зрения П. Штомпки, «в XIX веке возникли три великие классические концепции социальных и исторических изменений: теория эволюции, теория социальных циклов и исторический материализм Маркса. Они по сей день сохранили свою силу в различных модифицированных формах и до сих пор остаются объектом дискуссий» [414, с. 513]. Эти теории нашли своё отражение в разнообразных эволюционистских и циклических концепциях исторического развития, в том числе в теории общественно-экономических формаций. В контексте эволюционного подхода общеисторические закономерности обычно представляются как необходимые, существенные, повторяющиеся связи между явлениями, задающие социальным

системам единый путь развития. Хотя могут возникать те или иные социальные отклонения, единый путь развития остаётся устойчивым и неизменным. По сути, эволюционные изменения рассматриваются как линейные, и эволюция носит постепенный, непрерывный, восходящий и кумулятивный характер. «Развитие социума мыслилось направленным — от примитивных к совершенным формам, от простых к сложным состояниям, от распыленности к агрегации, от гомогенности к гетерогенности, от хаоса к организации» [415, с. 145].

Линейно-монистический подход — один из методологических постулатов классической парадигмы социального знания — обосновывает и оправдывает европоцентристский вариант мировой истории как глобальную вестернизацию всех стран и народов. Модернистский проект является концептуальной основой модернизации традиционных обществ, — более того, он до сих пор занимает центральное место как в либеральной, так и в марксистской доктринах. Классическая социология использует линейный подход к исследованию процесса развития сложных самоорганизующихся систем, что подразумевает поступательное движение в ходе социальной эволюции. Поэтому понятийный аппарат обществознания включает в себя такие линейные дефиниции, как прогресс, законы эволюции, стадии, переход от простого к сложному, смена формаций и т. п. По мнению П. Сорокина, «общественно-научная мысль XVIII—XIX веков была занята большей частью изучением разнообразных линейных тенденций развития, разворачивающихся во времени и в пространстве. Она оперировала главным образом понятием человечества вообще и стремилась отыскать „динамические законы эволюции и прогресса“, определяющие магистральное направление человеческой истории» [337, с. 358]. До сих пор социальные науки развиваются преимущественно в рамках линейной и циклической парадигм, хотя периодически делаются попытки их модификации.

В рамках классической парадигмы был разработан, пожалуй, самый величественный социальный проект о справедливом обществе — научный коммунизм. Марксистская модель общества строилась на представлении об обществе как системе общественных отношений, складывающихся в процессе добывания материальных благ. Немецкий философ, социолог и экономист К. Маркс (1818—1883) считал, что взаимодействие человека и природы — первоначальная основа человеческого бытия. Человек есть животное, но одновременно разумное и мыслящее существо. Если животные лишь рефлекторно приспосабливаются к природной среде, то человек стремится её преобразовать, используя свой разум. Мыслящее человеческое существо, в отличие от животных, способно заниматься производством. Животные всё, в чём они нуждаются, добывают в природе в натуральном готовом виде. Даже социальные животные ведут зоологический образ жизни, навсегда оставаясь естественной частью дикой природы. Животные не в состоянии заниматься производством. Общественное производство — уникальный удел разумного человека. Поскольку человек есть биосоциальное существо, то в этом качестве он физически не может жить без средств к существованию. На протяжении всей истории он вынужден заниматься добыванием жизненно необходимых ресурсов. Примерно около 10 тыс. лет назад начался переход от охоты, собирательства и рыболовства к земледелию, скотоводству и ремеслу, от присваивающего хозяйства к производству материальных благ. Неолитическая революция, характеризуемая технологическим продвижением и повышением экономической производительности, вызвала далекоидущие изменения в экономике, политике, религии, культуре. Когда общества начали производить экономические излишки, возникли конфликты из-за контроля над ними. По мере увеличения излишков борьба усиливалась, системы стратификации становились более сложными. Переход к сельскому хозяйству привёл к поселениям и общинам, которые на некоторое время оставались относительно уравновешенными, но в конечном итоге уступили место стратифицированным обществам. Примерно 5000 лет назад в нескольких частях мира общества, превратившиеся в вождества, начали переходить на государственный уровень политической организации. Большинство цивилизаций были аграрными обществами и культивировали землю с помощью плугов и тягловых животных.

Подобно неолитической революции переход к цивилизации и государству был процессом независимой параллельной эволюции в нескольких частях мира.

Как свидетельствует опыт всемирной истории, материальное производство представляет собой взаимодействие человека и природы. В процессе производственной деятельности человек с помощью средств производства оказывает активное практическое воздействие на природную среду и тем самым создаёт материальные блага, необходимые для выживания человеческого рода. Без общественного производства он обречён на неумолимую физическую гибель. «Подобно тому, как человеческий организм разрушается, когда он перестаёт непрерывно воспринимать, преобразовывать и ассимилировать необходимые для его существования вещества... так же точно и общество может существовать лишь тогда, когда оно непрерывно производит всякого рода предметы потребления, служащие для удовлетворения его материальных жизненных потребностей» [204, с. 126]. Это — объективный биологический и экономический факт, который не нуждается в дополнительных доказательствах. Если человек прекратит заниматься производственной деятельностью, то неизбежно наступит трагический конец истории. Следовательно, производственные отношения, которые складываются в процессе общественного производства, не зависят от воли и сознания людей. В любом случае их субъективные намерения и желания не могут отменить их объективную биологическую жизнь, принуждающую человека всегда и везде заниматься производством материальных благ. В свою очередь производство по своей природе обязательно существует в определённой общественной форме.

Производственные отношения испытывают активное влияние со стороны производительных сил, которые демонстрируют технологическое и интеллектуальное превосходство человека над природой. Производительные силы — это не только техническая мощь человека, но и техническая система, которая нуждается в соответствующей общественной форме. Производительные силы и производственные отношения диалектически связаны друг с другом, хотя и являются в аналитическом смысле разными сторонами общественного производства. Компонентами производительных сил являются средства производства (предметы труда и орудия труда) и люди, обладающие трудовыми знаниями и умениями. Совершенствование производительных сил стимулирует развитие общественного производства, и в этом процессе главную роль играют орудия труда, так как они являются наиболее динамичным и подвижным элементом производства. Человек со своей специфической двойственной природой всегда нуждается в удовлетворении своих физиологических потребностей, а это можно сделать только с помощью различных потребительных благ, созданных в экономической системе благодаря орудиям труда. Люди желают потребительные блага, и это побуждает их к непрерывному преобразованию орудий труда, техники, рабочей силы. Изменяя орудия труда, люди тоже сами изменяются и приобретают в этом инновационном процессе новые знания, умения и навыки. Производственный опыт, техника, технологии передаются людьми от поколения к поколению. Этот процесс совершается непрерывно и образует материально-техническую основу развития общественного производства.

Согласно К. Марксу, базис определяет надстройку — совокупность идей, учреждений и отношений. В свою очередь надстройка активно воздействует на базис, способствуя его укреплению и развитию. Наиболее динамично развиваются производительные силы. В итоге между двумя сторонами способа производства возникают сложные и противоречивые взаимодействия, вызывающие в базисе тенденцию к регрессу. Новые производительные силы со временем приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Это фундаментальное противоречие разрешается путём социальной революции, которая упраздняет старые, отжившие производственные отношения и устанавливает новые, которые открывают возможности для дальнейшего развития производительных сил, экономики и общества.

По мнению К. Маркса, классовая борьба — главный субъективный фактор социальных изменений. В основу своего материалистического понимания истории он положил тезис о том,

что «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» [239, т. 4, с. 424]. Так, социодинамика классовых обществ оказывается в центре диалектической концептуальной картины, отражающей смену общественно-экономических формаций. Эксплуататорский класс доминирует в классовом обществе и хочет сохранить своё привилегированное состояние. Угнетённые и униженные, напротив, стремятся избавиться от социального неравенства и социальной несправедливости. Они начинают борьбу против эксплуататорского класса, весьма заинтересованного в том, чтобы защитить и даже упрочить своё структурное господство. Классовая борьба в капиталистическом обществе, развёрнутая пролетариатом, приобретает непримиримый, антагонистический характер. Появление рабочего класса на политической арене вполне закономерно, потому что он является неотъемлемой частью капиталистического производства. Вначале он борется за свои экономические интересы, но потом реформизм перерастает в политическую борьбу против самой системы капитализма. Историческая миссия пролетариата состоит в упразднении всех видов эксплуатации и угнетения. Логика истории, таким образом, ведёт к ликвидации капитализма, частной собственности на средства производства и антагонистических классов, что по сути своей означает установление социалистического строя. Основой социализма является общественная собственность на средства производства и принципы социального равенства и социальной справедливости.

Огромный вклад в развитии социальной науки внёс немецкий социолог, философ, историк и экономист М. Вебер (1864—1920). В своём творчестве он продемонстрировал широкий круг исследовательских интересов и, по существу, предложил новый, антипозитивистский проект социологии. Универсальные знания позволили ему заниматься широким спектром проблем, но особый интерес он проявил к развитию современного капитализма. Большое влияние на него оказал К. Маркс, который в своё время тоже занимался исследованием проблемы капитализма. Однако М. Вебер считал, что марксистская теория носит в основном экономический характер и это свидетельствует о её методологической односторонности. Соответственно, в научном познании надо учитывать не только материальные факторы, но и то, как идеи влияют на экономику. В работе «Протестантская этика и дух капитализма» он утверждает, что религиозная этика, религиозные ценности, особенно связанные с пуританством, были основными стимулами развития капиталистического мировоззрения и капиталистической экономики. Современный капитализм существенно отличается от прежних, традиционных форм социальной организации, и М. Вебер дал развёрнутый анализ модернизированного промышленного общества. Критикуя материалистическое понимание истории, он полагал, что классовый конфликт играет менее значительную роль в социальных изменениях, чем это считалось в марксистском учении о классовой борьбе. Что касается социологии, то она должна сосредоточиться на социальных действиях. Согласно концепции М. Вебера, общество изменяется в результате человеческой деятельности, мотивированной комплексом определённых идей, ценностей и представлений. Структуры, в свою очередь, зависят от социальных действий индивидов. Человеческие идеи, ценности и убеждения служат базисом общества, структурирующим человеческое поведение. Поэтому, когда появляются новые идеи и ценности, они становятся движущей силой социальных изменений. Социальные действия не могут быть полностью детерминированы структурами, и люди имеют возможность свободно действовать и строить свою частную и общественную жизнь. Структуры в обществе, считал М. Вебер, возникают в результате сложного взаимодействия индивидуальных поступков. Задача социологии заключается в том, чтобы раскрыть и понять смысл социальных действий индивидов. Социальные структуры не обладают смыслом и, следовательно, не могут быть предметом социологического анализа и понимания.

Согласно М. Веберу, культурные идеи и ценности помогают формировать общество и индивидуальные действия людей. Появление современного общества сопровождается важными сдвигами в моделях социальных действий. «Первым противником, с которым пришлось

столкнуться „духу“ капитализма и который являл собой определенный стиль жизни, нормативно обусловленный и выступающий в „этическом“ облике, был тип восприятия и поведения, который может быть назван традиционализмом» [68, с. 80]. Тем не менее развитие современного капитализма побуждает людей отходить от традиционных представлений, основанных на суевериях, религии, обычаях и стародавних привычках. Люди все чаще занимаются рациональным расчётом, учитывая эффективность и будущие последствия своих действий. Как отмечал М. Вебер, развитие науки, современных технологий и бюрократии представляет собой рационалистический процесс, и это фундаментальная черта современности. По сути, организация социальной и экономической жизни осуществляется в соответствии с принципами формальной рациональности, и в этом процессе всевозрастающее значение имеют научные и технические знания. В отличие от традиционного общества, в котором религия и обычаи играли ключевую роль, основой современного общества становится рационализация политики, экономики, культуры и других сфер жизни. Однако М. Вебер не был полностью оптимистичен в отношении результатов рационализации. Он боялся, что распространение современной бюрократии во все сферы жизни приведёт к негативным последствиям. Бюрократическое господство и стремление регулировать все сферы общественной жизни могут подорвать гуманитарные ценности и демократию.

Творчество М. Вебера оказало сильное влияние на социологические представления американского социолога Т. Парсонса (1902—1979), который активно развивал идеи и концепты структурного функционализма. Особый интерес он проявил к проблеме социального порядка, необычайно актуальной на протяжении всей истории социальной науки. Каждое общество стремится обеспечить социальный порядок, поскольку в противном случае невозможно успешно бороться с социальным хаосом. Упорядочить непрерывно возникающий хаос — исключительно важная общественная задача, но в реальной жизни выполнить её чрезвычайно трудно. Между тем общество не может нормально существовать без устойчивого социального порядка. Он нужен всем: и человеческим индивидам, и социальным организациям. Стремление акторов к стабильному состоянию воплощается в форме поддержания равновесия социальной системы. По Т. Парсонсу, социальное равновесие представляет собой общественный консенсус, стабильное состояние общества, способного согласовать между собой интересы различных акторов. Если общество успешно выполняет свои функции, обеспечивающие самоподдерживающийся социальный порядок, то оно тем самым добивается реализации своей фундаментальной цели — выживания в сложной и рискованной окружающей среде.

Эти абстрактные и статичные представления очень долго господствовали в западной социологии. Поскольку принцип равновесия и стабильности социальной системы оставался преобладающим в структурно-функциональном анализе, то это послужило важнейшим источником критики творчества Т. Парсонса. Наиболее слабым местом структурного функционализма в его версии был антиэволюционизм, практически отвергавший идею развития. В конкурентном поле научной критики было вполне очевидно, что ортодоксальный функционализм нуждается в определённой корректировке.

Согласно точке зрения Т. Парсонса, изменения в структурном функционализме должны были осуществляться в контексте неозволюционизма. Прежде всего, это было необходимо для того, чтобы учесть критику оппонентов, которые обвиняли Т. Парсонса в том, что он игнорирует социальные конфликты. Он попытался акцентировать внимание на анализе функций, но попытка придать структурно-функциональному анализу динамический характер благодаря идее эволюции не увенчалась успехом. Статичный и равновесный характер структурного функционализма не претерпел особых изменений, но его аналитическая схема стала ещё более сложной и запутанной. Таким образом, попытка Т. Парсонса в рамках структурно-функционального анализа разработать основательную концепцию неозволюционизма оказалась малоуспешной.

Абстрактные теоретические конструкции, развиваемые Т. Парсонсом, были достаточно ограничены для функционального анализа конкретных социальных проблем. Тем не менее они претендовали на гносеологический универсализм и объяснение любых социальных явлений. Становилось более чем очевидно, что структурный функционализм в парсонсовской интерпретации был в значительной степени неадекватен эмпирической действительности, что вызывало возрастающую критику не только его оппонентов, но и приверженцев. Так, американский социолог Р. Мертон (1908—2003), один из теоретиков структурно-функционального анализа, считал, что теоретические обобщения должны подтверждаться эмпирическими исследованиями. Пытаясь преодолеть абстрактность и статичность структурно-функционального подхода, Р. Мертон ориентировался на поправки, в которых, по его мнению, нуждался структурный функционализм. Так, он ввёл в структурно-функциональный анализ понятие «дисфункция», что заметно расширило инструментарий исследования социальных процессов. Он попытался, таким образом, ввести в функционализм идею изменения, отвечающую социальным конфликтам и переменам. В результате структурно-функциональный анализ, хотя и сохранил свои системные качества, стал более гибким и реалистическим. По сути, он создал теорию социальных изменений, допускающую возможность отклонения социальной системы от принятой нормативной модели.

Другой методологической новацией Р. Мертона была теория среднего уровня. По его мнению, нужны были новые методологические подходы, способные более точно описать и объяснить социальные феномены. Преодоление чрезмерной отвлечённости структурного функционализма он видел в том, чтобы найти посредника между широкими теоретическими обобщениями и конкретными эмпирическими фактами. Этот реалистический посредник связывал бы теоретический и эмпирический уровни функционального анализа. В качестве такого посредника Р. Мертон предложил теорию среднего уровня, адекватную конкретной социальной реальности. Таким образом, он существенно скорректировал абстрактный структурный функционализм, и теории среднего ранга открыли новые методологические возможности в области функционального анализа [243, с. 64—104].

Методологический кризис классической парадигмы поколебал позиции механистического детерминизма вообще и марксизма в частности, хотя интенции механицизма продолжают оказывать влияние на социально-гуманитарные науки. Тем не менее кризис классической рациональности вполне очевиден, и изменения в современной науке характеризуются сдвигом от механистического подхода классической науки к холистической парадигме, наиболее интересно воплощённой в синергетике. Рационализм как основа классической парадигмы подвергается нарастающей критике, поскольку до сих пор наука и техника применяются в основном для утилитарных целей, опасных и антиэкологических. По мнению Дж. Реале и Д. Антисери, «механическая интерпретативная модель с простыми теоретическими элементами и техническим инструментарием стала мостом от теории к практической перестройке мира» [309, с. 208]. С каждым годом интенсификация процесса преобразования природы усиливает негативные экологические следствия. В свою очередь, экологический кризис стимулирует критику научно-технического прогресса. Без сомнения, теоретические модели и технические инструменты до сих пор играют ключевую роль в материальном процветании, которое все чаще и чаще оборачивается опасными и антиэкологическими реалиями. В этих условиях социокультурная роль современной науки становится проблематичной. Как считал Н. Н. Моисеев, «...мы снова оказались на пороге новой бифуркации — новой катастрофической перестройки эволюции человечества» [252, с. 11], о чем свидетельствует возникновение во второй половине XX века глобальных проблем. Беспрецедентным риском нашего времени является планетарный экологический кризис, несущий в себе глобальную угрозу гибели человеческого рода. Следовательно, установка классического естествознания: природа — безграничный источник ресурсов

для человеческой практики, — оказалась в конечном итоге научно несостоятельной. Кризис техногенной цивилизации сопровождается критикой классического рационализма.

Марксизм разделял идеи классического рационализма и, в сущности, был лишь радикальной конкурирующей версией модернистского проекта, направленного на установление универсального социального равенства и справедливости, что свойственно одновременно и капитализму, и социализму, хотя с разными идеологическими акцентами. «Во второй половине XIX века, — пишет Л. Г. Ионин, — открытие социального неравенства и требование равенства были осмыслены как часть грандиозного духовного переворота того времени, положившего начало новой культурной эпохе — эпохе модерна» [154, с. 235]. Западный модерн провозгласил принципы всеобщей свободы и равенства, однако воплощение этих абстрактных понятий в жизнь разных обществ столкнулось с непредвиденными трудностями. Как показал опыт истории, существует глубокое противоречие между универсальными правами и свободами человека и состоянием конкретного общества, где имеет место социальное неравенство, бедность и отчуждение. Современная демократия, рекламируемая как наиболее яркий и типичный знак модерна, постоянно попадает в противоречивую ситуацию, поскольку абстрактные права и свободы не соответствуют повседневной практике их осуществления. В частности, особенно большие трудности возникают с реализацией концепции равенства: природа и социальная жизнь порождают неравенство и отчуждение, но западное дифференцированное общество провозглашается как общество равных возможностей.

Когда возник марксизм, критика отчуждения человека стала неотъемлемой частью марксистской доктрины, которая изначально была ориентирована на социалистическую революцию как альтернативу формальной демократии и рыночной экономике. По мнению Э. Фромма, «цель Маркса состояла в духовной эмансипации человека, в освобождении его от уз экономической зависимости, в восстановлении его личностной целостности, которая должна была помочь ему отыскать путь к единению с природой и другими людьми» [382, с. 377]. Ярко артикулируя идею социального равенства, марксизм провозглашает наиболее революционный вариант модерна — социализм. Более того, радикальные сторонники марксизма в России использовали потрясения и хаос Первой мировой войны и предприняли практическую попытку воплотить в жизнь марксистский проект социализма. В связи с этим Дж. Грей пишет: «Советский коммунизм отнюдь не был порождением русской православной культуры, пропитанной мистицизмом и благочестием, так же как и своими наиболее репрессивными нормами, он обязан совсем не русским культурным традициям. Народ России сбился с исторического пути, по которому страна следовала со времён отмены крепостного права, попытка воплощения в жизнь концепции, составляющей квинтэссенцию идеологии Запада и европейского Просвещения» [104, с. 71].

После Октябрьской революции наша страна попыталась осуществить модернистский проект в марксистском варианте и сделала грандиозный рывок к социалистическому обществу. Именно индустриальный социализм стал ответом советской системы на вызов модернизации, который предельно обострился в результате глобальной конфронтации социализма и капитализма. СССР был историческим лидером марксистского социализма, и «его существование представляло собой более чем полувековую гигантскую попытку модернизации в условиях социалистической системы» [22, с. 223]. В сложное историческое время советская модель индустриального социализма продемонстрировала колоссальные достижения, но ценой насилия и подавления личности.

Однако в конце XX столетия неожиданно произошёл исторический крах государственного социализма и, следовательно, универсальной теории научного социализма, которая в известной мере являлась интеллектуальным продуктом классического рационализма и философии Просвещения. Конечно, программа Просвещения добилась весьма впечатляющих результатов, особенно в контексте европейской цивилизации, демонстрирующей небывалый

технологический триумф. Однако сегодня идеи прогрессистской веры оказались под вопросом, так как процесс модернизации, инспирированный европейским модерном, породил на фоне научно-технической революции множество социальных и экологических проблем. Как отмечали авторы критической теории общества, «человеческая обречённость природе неотделима от социального прогресса. Рост экономической продуктивности, с одной стороны, создаёт условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат и те социальные группы, которые им распоряжаются, безмерным превосходством над остальной частью населения» [396, с. 12].

В свою очередь, марксизм как радикальный вариант модерна претерпел в своей истории различные идеологические метаморфозы и был канонизирован в качестве «абсолютной науки». Это обернулось упрощением марксистской теории, а сам процесс идеологической канонизации марксизма-ленинизма сопровождался пропагандистской апологетикой. Однако марксистская теория, претендуя на единственную и исключительную истину, по иронии истории столкнулась с принципиальной ограниченностью своего мессианского притязания на монополию научного (квазирелигиозного) пророчества, потому что «мир, в котором истина одна, а заблуждений много, прекратил свое существование» [377, с. 51]. Тем не менее классическая парадигма социального знания оказала существенное влияние на марксистскую теорию, которая приобрела статус непреложного ортодоксального учения. «Освобождаясь от марксистского принуждения историческим детерминизмом, — отмечает П. Козловски, — новейшая история Европы доказывает, что в основе марксизма лежит исторический миф, который не может претендовать на научность и недостаточен даже как миф. Миф марксизма-ленинизма — это не просто миф, а фальшивый миф, поскольку в нем отсутствует свобода и личность человека» [184, с. 20].

Крах мифа марксизма-ленинизма приводит к тому, что вопрос о принципах и научной эффективности классической рациональности вообще и марксистской теории в частности приобретает дискуссионное значение. По мере изменений в современном мире споры и дискуссии о марксизме теряют своё значение и ограничиваются довольно узким кругом приверженцев коммунистической идеологии, мечтающих о реставрации социализма в капиталистической России. Тем не менее эти споры будут продолжаться, поскольку социалистический эксперимент осуществлялся по рационалистическому проекту, сконструированному в соответствии с марксистско-ленинской доктриной, основанной на трудах немецкого философа и экономиста К. Маркса и российского политического мыслителя и революционера В. И. Ленина. Действительно, марксизм выступал не только как философия или диалектика, но и как универсальная наука, которая пыталась доказать неизбежность гибели капиталистического строя и победы социализма по непреложным законам исторического развития. «Вместе с тем, — писал Э. Геллнер, — он разоблачал моральные компромиссы современного ему общества и выступал с проектом нового общественного строя, избавленного от эксплуатации, угнетения и неравенства и одновременно абсолютно свободного» [87, с. 45]. Руководствуясь сциентистскими установками классического рационализма, марксизм притязал на абсолютное знание, постулируя революционную веру как учение, которое имеет неоспоримую научную достоверность. Эта наука/вера, в свою очередь, способствовала легитимизации политической борьбы партии и масс за реализацию радикальной версии модернистского проекта — коммунизма. Так, К. Маркс считал, что знание законов исторического развития даёт возможность не только исследовать прошлое и настоящее, но и предсказывать будущее. Как утверждал Р. Арон, «материалистический миф включает в себя исторический детерминизм, который с необходимостью приводит к бесклассовому обществу. Марксисты воображают некую историческую необходимость, которая сама по себе реализует смысл истории» [11, с. 60].

Крах коммунизма и системный кризис российского общества интерпретируется многими как бесспорное свидетельство научной несостоятельности марксизма, хотя он явля-

ется лишь частью классической парадигмы социального знания. Непредвиденная бифуркация сокрушила государственный социализм и тем самым опровергла догму о марксизме-ленинизме как о якобы единственно верном учении. Однако необходимо подчеркнуть, что поражение потерпела марксистско-ленинская идеология, которая оправдывала насильственные эксцессы политического авангарда, тогда как аутентичная теория К. Маркса останется классикой общественнознания, что, разумеется, не исключает научные споры и поиски наиболее развитой гуманистической теории социальных изменений. Как пишет П. Козловски, «функцией диалектико-материалистического фундамента было, скорее, обоснование теории авангарда и легитимация выводимого из неё господства коммунистической партии. <...> Авангард легитимировал себя с помощью диалектического материализма и связанного с ним положения о необходимости и непреложности диалектики политического, экономического и духовного в истории» [184, с. 20].

Марксистско-ленинская доктрина играла исключительно важную роль в истории социалистической модернизации, поскольку она (доктрина) функционировала и как социальная мифология, которая манипулировала общественным сознанием трудящихся масс, и как научная теория, которая претендовала на единственно непреложную истину во всех сферах научного знания. С точки зрения П. Бурдьё, «советизм нашёл в марксизме концептуальный инструментарий, необходимый для обеспечения легитимной монополии на манипулирование политическими речами и действиями... Популистский сциентизм, каким он себя представляет, обеспечивает Партии две конвергентные формы легитимности: марксистская доктрина как абсолютная наука о социальном мире дает тем, кто является её хранителями и официальными поручителями, возможность занять такую абсолютную точку зрения, которая является одновременно точкой зрения науки и точкой зрения пролетариата» [59, с. 317]. Действительно, с помощью марксистских догм, редуцированных к популярным идеологическим мифам, партия наделяла себя абсолютной политической и символической властью, которая позволяла оправдывать насильственную практику коммунистического режима. По сути, ортодоксальная социалистическая идеология выступала в качестве одного из главных элементов советской системы. Являясь квинтэссенцией коммунистической доктрины, марксизм функционировал в СССР как феномен «научной идеологии», что само по себе было алогично с точки зрения научной методологии. Тем не менее, как показал опыт советского социализма, этот квазинаучный симулякр оказался невероятно популярным и эффективным инструментом идеологического манипулирования сознанием и поведением советских людей.

Вместе с тем в рамках марксистской теории общественно-экономических формаций невозможно понять крушение коммунизма. К. Маркс разработал развёрнутую интегральную концепцию развития человеческого общества. Он интересовался в первую очередь структурами социального неравенства и тем, как эти структуры развиваются в контексте истории. Капиталистическое общество, как и предшествующие классовые общества, базируется на структурах, угнетающих наёмных работников. Система капитализма исторически изменяется, но в целом сохраняется потенциал классовой борьбы. Капиталисты и наёмные работники образуют два враждебных класса с диаметрально противоположными социальными интересами. Согласно К. Марксу, пролетариат — единственный создатель всех богатств в капиталистическом обществе, но в действительной жизни он лишён их и подвергается эксплуатации. Буржуазия, напротив, лишь присваивает плоды трудов рабочего класса, держа его в постоянном страхе безработицы. Капиталисты в процессе частного присвоения результатов общественного производства стремятся к неограниченной прибыли. В ходе классовой борьбы, движущей силой которой выступает пролетариат, капиталистическая система в конечном итоге будет уничтожена. На обломках капитализма рабочий класс построит новое, справедливое общество — коммунизм. Хотя капитализм обеспечивает экономический рост, К. Маркс был глубоко убеждён в том, что коммунизм будет более эффективной и гуманной системой общества,

чем капиталистический строй, основанный на эксплуатации человека человеком. Логика его рассуждений почти безупречна: «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» [239, т. 23, с. 33].

Однако сегодня коммунизм снова превратился в призрак, который бродит где-то по планете, но уже никто не объединяется для его священной травли. Причины краха государственного социализма вызывают непрекращающиеся споры, но «ирония состоит в том, что коммунистические общества стали приобретать постоянно растущий горизонт желаний, порождённых западным обществом потребления, не приобретая средств удовлетворения этих желаний» [386, с. 214]. Несомненно, крах СССР явился одним из самых неожиданных и поразительных событий в новейшей истории, и это серьёзно девальвировало диалектический и исторический материализм как методологическую основу советского обществоведения. В современной России преобладает тенденция к категорическому отрицанию марксизма, поскольку это отвечает не только современной политической и научной конъюнктуре, но и интеллектуальным интенциям постмодернизма, принципиально отвергающего теоретические макросистемы и универсальные истины. Кроме того, в идеологическом поле предвзятая интерпретация марксизма приносит ангажированным критикам символические и материальные дивиденды. Ориентируясь на западные ценности, либералы постулируют инверсионную идею о том, что «марксизм умер», и вместе с Западом провозглашают глобальный триумф либерализма и «конец истории» [385]. Пресловутый тезис о «конце истории», предложенный Ф. Фукуямой, означал, что «триумф Запада, западной *идеи* очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив» [385, с. 134]. Эти идеалистические представления о будущем человечества не соответствовали потрясениям 90-х гг. прошлого века и, конечно, были инспирированы крахом мировой системы социализма, когда эйфорические ожидания людей носили скорее эмоциональный, чем рациональный характер. Тогда иллюзии консенсуса и консолидации мирового сообщества на основе глобальной либеральной демократии широко распространились не только среди политиков и простых обывателей, но и трезво мыслящих интеллектуалов. «Исчезновение марксизма-ленинизма сначала в Китае, а затем в Советском Союзе будет означать крах его как жизнеспособной идеологии, имеющей всемирно-историческое значение» [385, с. 143]. После холодной войны либеральная идеология мироустройства пережила свой звёздный час, породивший завышенные ожидания, неадекватные реалиям перестройки биполярной геополитической системы мира. Трагические события, последовавшие после распада СССР, довольно быстро развеяли химеры всеобщей политической гармонии и снова актуализировали Марксовы идеи. Нашумевший проект Ф. Фукуямы о счастливом завершении мировой истории под эгидой либерализма наглядно проявил свои утопические черты. Критика системы идей К. Маркса, претендующей на макротеоретическое представление о социальном мире, вовсе не означает, что надо «оправдывать тех, кто, как на Востоке, так и на Западе, торопится вместе с марксизмом выплеснуть и его научность, и его рационализм» [59, с. 317]. Более того, сегодня недостаточно просто корректно констатировать, что марксизм — не только идеологический, но и научный феномен. Проблема социальных изменений, артикулированная К. Марксом, приобретает на фоне системного кризиса в России не только теоретическое, но и практическое значение. Для позитивных результатов модернизации нашей страны совершенно недостаточно только провозгласить лозунг о смерти марксизма и заменить его по элементарной инверсионной логике либеральной идеологией. В российских условиях (климат, пространство, геополитика) либерализм не сумел дать адекватный ответ на вызов третьего тысячелетия — глобальный экологический кризис, обусловленный гедонистической философией массового потребления.

Большую роль в процессе деградации коммунистического идеала и сопутствующих ему атрибутов сыграла символическая борьба [58, с. 80], которая осуществлялась посредством СМИ и использования новейших методов психопрограммирования человеческого сознания и поведения. В нестабильном обществе посредством символического внушения создавалась ирреальная картина, более яркая и красочная, чем скучный социализм со своими социальными гарантиями и хроническим дефицитом. Революция растущих, точнее, инспирированных ожиданий советского народа девальвировала социалистические ценности и институты. По сути, рекламные симулякры дискредитировали реальный социализм, который пытался апеллировать к идеалистическим ценностям, диссонирующим с эгоистической природой человека. Приоритет индивидуализма перед коллективизмом, ставший безусловным лейтмотивом в массовой культуре, получал в повседневной жизни более наглядное подтверждение, чем абстрактная коммунистическая доктрина. Биологическое начало в человеке, стимулируемое массовой культурой и потребительской моралью, в конечном счёте одержало победу над рационалистическими идеями, догмами и доктринами. Иными словами, коммунистический Левиафан был побежден потребительской психологией, более отвечающей животной природе человека, чем духовные ценности, дезавуированные скучной и монотонной догматикой советского социализма.

В современных условиях кризис марксизма — это кризис не только марксистской социальной доктрины, но и вообще классической социологии, которая интерпретирует социум как механизм, функционирующий по определённым детерминистическим законам. «Марксизм, как и вся сциентистско-рационалистическая парадигма, исходит из наличия одного, единственно истинного пути в истории. Такая установка может служить оправданием любых, в том числе и насильственных, действий по претворению в жизнь этих истинных идей» [117, с. 91]. Классическая наука, абстрагируясь от метафизики человеческого бытия, ничего не может сказать «о разуме или неразумии, о человеке как субъекте свободы» [110, с. 138] и ограничивается лишь констатацией объективной фактичности мира. При этом гуманистические ценности элиминируются из науки, а сам человек превращается в объект научного исследования и социальных экспериментов. Социальная жизнь подвергается стандартизации и унификации, и этот процесс практически уничтожает подлинное существование индивида, обречённого на механическую адаптацию к технической среде, в которой доминируют уже не экзистенциальные смыслы, а объективные нормативы. Реализация модернистского проекта как индустриального капитализма оказалась драматически противоречивым феноменом мировой истории: с одной стороны, это — наука, индустрия, демократия, права и свободы человека, прогресс и другие достижения западной цивилизации, с другой — экологический кризис, безработица, преступность, отчуждение, потребительская мораль, совершенно несовместимая с экологическим императивом нашего времени. Так, Д. Грей грустно констатирует: «Сегодня мы живём среди неразобранных руин проекта Просвещения, который был главным предприятием Современности. Если... выяснилось, что оно несло в себе семена саморазрушения, то это говорит о закате Современности, наследниками которой мы являемся. В наследство нам достанется разочарование, разочарование все более глубокое, поскольку оно касается основных иллюзий самого Просвещения» [104, с. 280].

В наше время классические теории, направленные на познание социальной реальности, оказались неспособными в полной мере ответить на вопросы, которые ставит эпоха бифуркации. Современная социальная теория, по сути, находится в состоянии парадигмального кризиса, который отражает кардинальные сдвиги в стиле мышления, понимании мира, познании неустойчивой социальной реальности. Прогрессирующие социальные риски, кризисы и грозящая экологическая катастрофа настоятельно требуют научной и моральной переоценки модернистской модели общественного развития, которая в значительной степени обусловлена установками и интенциями классической парадигмы социального знания. Несмотря на научно-

технологический, экономический и потребительский триумф Запада, модернистский проект, инспирированный классическим рационализмом, к концу XX века выявил свою духовно-этическую и экологическую ограниченность, что, в свою очередь, актуализирует проблему теоретической и практической корректировки проекта модерна и философии линейно-поступательного прогресса.

1.2. Неклассическая парадигма

Социология тесно связана с рациональностью, хотя в реальной общественной жизни очень часто проявляется иррационализм. Вот почему актуален вопрос о рациональности, точнее, о типах рациональности, которые играют важную роль в истории социологического знания. В начале XIX века классический рационализм стал подвергаться критике, и в западной науке начал формироваться новый тип рациональности — неклассический, который базируется на принципах, отличных от принципов классической рациональности. Согласно концепции В. С. Стёпина, «*неклассический тип научной рациональности* учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя имплицитно они определяют характер знаний (определяют, что именно и каким способом мы выделяем и осмысливаем в мире)» [351, с. 454]. Потребность в новой парадигме вызвана теми кардинальными переменами, которые затронули все сферы жизни стран, вставших на путь капиталистических преобразований. Но, пожалуй, наиболее существенную роль в смене парадигм играют особенности европейской культуры. Удивительное разнообразие трансцендентных представлений о мире, развивавшихся под влиянием Реформации, приводит к напряжённой борьбе различных интеллектуальных альтернатив в религии, литературе, искусстве, науке. Бесконечно многообразный мир и непрерывные изменения, порождаемые динамичным капитализмом, уже не укладывались в прокрустово ложе классического рационализма, и механистическая картина мира, в которой все явления подчиняются причинно-следственным связям, все чаще и чаще сталкивалась с антиномиями и парадоксами. Такая противоречивая ситуация инспирировала альтернативные идеи и представления в научной мысли.

На становление нового типа рациональности, способного объяснить новые антиномии и дилеммы, существенное влияние оказывает развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Новые открытия в физике разрушают относительно целостную картину мира, основанную на принципах ньютоновской механики, и порождают множество вопросов, как философского, так и научного характера. Классическая механика явно абсолютизирует причинно-следственные связи, редуцируя их к феномену лапласовского детерминизма, претендующего на объяснение любого события в универсуме. Под влиянием дарвиновской теории органической эволюции в науке распространяются идеи эволюционизма, акцентирующие внимание на процессуальном характере объективной реальности. Психология, исследуя человеческую психику, обнаруживает в ней подсознание, в котором доминируют тёмные страсти, влечения и желания, диссонирующие с логикой классической рациональности. Появляется новая наука — социология, предметом исследования которой становится общество как сложный организм, развивающийся вследствие столкновения различных социальных групп. Этнография собирает множество интересных наблюдений и артефактов, свидетельствующих о культурном многообразии народов мира, что явно противоречит схеме всемирного исторического развития в виде поступательного прогресса, которая служит общепринятой аксиомой в парадигме классического рационализма.

Важную роль в смене научных парадигм играла неклассическая философия с удивительным многообразием подходов, направлений и школ. Основой классической философии является разум, тогда как неклассическая философия отвергает приоритет рационализма в познании объективного и субъективного миров. Неслучайно во второй половине XIX века возникает множество философских направлений, которые опираются на нерациональные основания человеческого познания. Плюрализм неклассической философии имплицитно подчер-

кивает её отличие от классических философских схем, ориентированных на безграничные возможности разума, познающего беспредельный космический мир и предельные социальные реалии, чтобы воплотить в жизнь вековые мечты о лучшем устройстве человеческого бытия. Капиталистическая модернизация европейских стран изумляет современников своими невероятными темпами и масштабами, демонстрируя, казалось бы, безграничные возможности человеческого разума и знания. Социокультурные процессы характеризуются небывалым возрастанием роли науки, научно-технического прогресса, который становится движущей силой развития европейской цивилизации. И в этот триумфальный момент фаустовского человека неожиданно появляются пессимистические настроения, выражающие не только философское, но и социальное разочарование думающей части европейцев в идеалах Просвещения. В европейской культуре формируется фундаментальная дилемма *сциентизм/антисциентизм*, вызывающая до сих пор экспрессивные споры в интеллектуальных кругах.

Сциентизм признает научное знание наивысшей культурной ценностью, выступающей непреложным образцом для подражания в различных сферах духовной культуры. Идеалом для сциентизма служат наиболее развитые отрасли естествознания и математика, демонстрирующие самые точные знания в рамках института науки.

Приверженцы антисциентизма, в свою очередь, подвергают науку широкой критике, рассматривая её как демоническое и антигуманное начало, которое прямо угрожает существованию человека и культуры. В качестве альтернативы науке антисциентизм выдвигает иррациональные способы познания материальной и идеальной реальности, и в своих крайних проявлениях этот иррационализм довольно часто манифестирует интенции, вызывающие ассоциации с мракобесием религиозного средневековья. Наука объявляется абсолютно несостоятельной с точки зрения поиска истины, особенно резкие претензии предъявляются к гуманитарным наукам, призванным решать проблемы человеческого бытия.

Согласно классической парадигме, познавательная деятельность рассматривается как особый общекультурный феномен, связанный с идеалом научности. Возвышенная цель науки состоит в том, чтобы с помощью соответствующего методологического инструментария обеспечить оптимальный поиск истины, причём аутентичный научный идеал подразумевает, что познание этой истины носит в конечном счёте исчерпывающий, окончательный характер. Несомненно, это важнейшая эпистемологическая идея, связанная с философией рационалистического оптимизма, постоянно подкрепляется не только безупречной логикой, но и безусловными успехами научного изучения мира. Научная схематизация, существующая как атрибут объективного анализа, разрушает романтические загадки и тайны, изгнанные в обыденное сознание или подсознание масс, испытывающих неизбывный страх перед демоническим могуществом науки, на фоне которой особенно пронзительно ощущается очарование примитивной донаучной жизни.

Тем не менее философия оказывается в невероятно трудной ситуации, поскольку её королевская роль, о которой ещё недавно с восторгом говорил Г. Гегель, уменьшается и уже вступает в противоречие с наукой. Институт науки многократно увеличивает своё воздействие на общественную жизнь, тогда как философия становится странным феноменом, вызывающим лишь ностальгические реминисценции о временах, когда слава философии не вызывала и тени сомнения. В век капитализма, порождающего социальные отклонения и риски, познание мира осуществляет в основном наука, а философия всё больше и больше поглощена романтической критикой капиталистического зла. В этой сумбурной атмосфере одинокие интеллектуалы, верящие в волшебную химеру равенства и справедливости, продуцируют брутальные идеологические манифесты с целью революционного преобразования капиталистической системы. На фоне идеологии авторитет науки неуклонно растёт, и коммунистическая мифология, ассоциирующая с мрачной библейской эсхатологией, тоже притязает на научный статус, чтобы добиться исторического успеха с помощью пролетарской революции, которая теперь

будет осуществляться не стихийно, как в предшествующий период, а по объективным историческим законам, открытым в рамках коммунистической доктрины. Однако возбуждённые толпы отвергают интеллектуальные программы по осмыслению сложных антиномий, собственных европейской цивилизации, и бессознательно провоцируют социальный хаос. По мнению Ш. Эйзенштадта, в европейской цивилизации развивались альтернативные представления об отношениях между трансцендентным и мирским порядками. «Во-первых, это осознание огромного разнообразия возможностей, связанных с трансцендентными представлениями, и путей их воплощения. Во-вторых, напряжённость между разумом и откровением, или верой, — или же их эквивалентами в не-„осевых“ цивилизациях, основанных на религиях немонотеистического типа. В-третьих, проблемы, связанные со стремлениями к полноценной реализации в социальных институтах этих представлений в их первозданном виде» [418, с. 23].

Философская рефлексия по поводу этих антиномий, как правило, оставалась уделом немногих революционеров, подлинных неконформистов, способных бросить вызов социальной стратификации и властной иерархии капиталистического общества. И вряд ли кто будет оспаривать сам факт европейских революций, которые были совершенно невероятными в условиях государства как машины легитимного насилия, но со временем стали ординарным историческим явлением. Эти противоречивые изменения порождали множество проблем, требующих не только объяснения, но и решения в контексте европейской цивилизации. Альтернативные представления о вариантах изменения общества являлись исходным пунктом многочисленных дискуссий о его революционном преобразовании. Однако практика подобных преобразований имела чаще всего трагический опыт, и поэтому роль науки в модернизации европейских стран стабильно возрастала. Европейские революции ассоциируются с хаосом и произволом, и абстрактные философские идеи, в том числе проект Просвещения, инспирирующие революционные потрясения, серьёзно дискредитированы. Как следствие, репутация социальной философии сильно обесценена в общественном сознании.

Спасая свой утраченный авторитет, философия пытается подражать науке, и этот умственный сценарий спасения философской созерцательности вроде бы обещал неплохие перспективы. Философию пытаются моделировать по математическому образцу, но эта не очень остроумная затея терпит крах. Философия не становится наукой, но провоцирует негативную реакцию учёных, раздражённых спекулятивными измышлениями философов, которые выдают свое бесплодное идеологическое многословие за продукт строгой научной деятельности. Тем не менее философия науки ещё как-то пытается сохранить свою академическую позицию, но всё более и более подвергается нелюбимой критике со стороны естественно-научного сообщества.

Сильная дифференциация науки вызывала многообразные методологические, дидактические и организационные следствия, и в результате образ науки как интегрального образования постепенно исчезал, подчиняясь логике дифференциального процесса. И если науку в её классическом варианте можно отнести к культуре, то разнородные научные дисциплины уже не отвечают критерию общекультурной парадигмы. В естественных и социальных науках утверждается принцип относительности, и он начинает своё необоримое движение, сначала довольно медленно и осторожно, но вскоре он добивается полного господства не только в науке, но и мировоззрении.

Триумф науки приводит к тому, что она неожиданно сталкивается с новой проблемой, которая является обратной стороной беспрецедентных научно-технических успехов. Дело в том, что наука непосредственно связана с техникой, и со временем научно-технический прогресс стал восприниматься обществом как процесс, абсолютно равнодушный и нацеленный лишь на утилитарное преобразование материального мира. Несмотря на гедонистическую философию жизни, общество заинтересовано в том, чтобы осознать социальные последствия развития науки и техники. Однако символическое насилие, осуществляемое средствами мас-

совой коммуникации, больше соответствует коллективным потребительским интересам, чем специфической функции, связанной с точной артикуляцией общественных проблем. Совершенно ясно, что без научного знания люди не могут адекватно артикулировать свои проблемы. Отсюда вытекает грустный вывод о том, что наука вызывает негативные социальные последствия, но у неё пока нет эффективного инструмента для их предупреждения. Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом классического рационализма: общество стремится к научно фундированным целям, но по какой-то неумолимой логике истории оно движется к глобальной гибели. Поэтому неудивительно, что классический рационализм, несмотря на впечатляющий триумф научно-технического знания, подвергается всевозрастающей критике.

Так, доминирование объективного идеализма, воспевающего классический рационализм, вызвало острую реакцию со стороны А. Шопенгауэра (1788—1860), и он выступил с резкой критикой гегелевского панлогизма. «Да разве и могут умы, уже в ранней молодости извращённые и испорченные бессмыслицей гегельянщины, понимать глубокомысленные исследования Канта? Их рано приучили считать пустословие за философские мысли, жалкие софизмы — за остроумие, и пошлое мудрствование — за диалектику» [411, с. 14]. А. Шопенгауэр глубоко убеждён в том, что не «разум правит миром», а слепая, безрассудная и злая воля. Разум, прославленный в классической философии, А. Шопенгауэр объявил мнимой реальностью, фикцией. Теперь базисом философии, по его мнению, стал не разум, но воля. Мир, в котором прежде торжествовал разум, превратился в мир как волю и представление [411]. Волевое начало априори свободно от логического разума, составляющего основу классического рационализма. Разум объективного идеализма уступил место воле как абсолютному началу бытия, которая совершенно свободна и не имеет никакого каузального обоснования. Более того, человеческий разум бессилён познать содержание мировой воли, так как оно доступно лишь интуиции. Полное отрешение от мира, абсолютно пассивное созерцание мировой воли, по мысли А. Шопенгауэра, единственный выход для человека, осознавшего мировое зло, ничтожество человеческого бытия и трагический финал всего сущего. Проблема рационального и нерационального однозначно решается в пользу примата воли над разумом. Объективный идеализм немецкой классической философии, полагал А. Шопенгауэр, необходимо заменить иррационалистической философией, базисом которой должны быть мистические и волюнтаристские идеи. По сути, познавательные трудности рационализма классической философии заменены крайностями волюнтаризма.

Пессимистические настроения А. Шопенгауэра, признание бессилия человеческого разума и экзистенциальной ничтожности человека весьма созвучны идеям и мироощущению С. Кьеркегора (1813—1855), ещё одного субъективного критика гегелевского рационализма. Критикуя Г. Гегеля за исторический объективизм, обрекающий человека на зависимость от власти непонятных, чуждых, анонимных сил, С. Кьеркегор рассматривал бытие через призму человеческой субъективности. Существование человека изменчиво, противоречиво, неустойчиво, и это постоянно порождает у него сомнение, тревогу, отчаяние, страх, чувство заброшенности и одиночества, но аналитический разум бессилён перед экзистенциальными переживаниями. Экзистенция человека, по мысли С. Кьеркегора, не может быть предметом концептуального познания. Следовательно, абстрактное научное мышление нуждается в существенном преобразовании, и в качестве альтернативы классическому рационализму он предлагает экзистенциальное мышление, фокусирующее внимание на чувственном, интимном аспекте внутренних переживаний индивида. С. Кьеркегор резко обличал историю как «абсурд исторического старья», потому что только внутренний мир единичного субъекта имеет абсолютную ценность. «Вера — это как раз такой парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего, единичный оправдан перед всеобщим, не подчинён ему, но превосходит его... вера — это парадокс, согласно которому единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном отношении к абсолюту» [206, с. 54—55]. По мне-

нию С. Кьеркегора, спасти совершенно одинокого и заброшенного в посюстороннем трагическом мире человека может лишь аутентичная вера в Бога.

Классический рационализм был подвергнут радикальной критике со стороны Ф. Ницше (1844—1900), одного из самых блистательных и оригинальных представителей *философии жизни*. Благодаря научным и техническим знаниям, которые демонстрировали яркий триумф, последняя четверть XIX века была временем прогресса и жизнеутверждающей веры в будущее. Именно в это время Ф. Ницше провозгласил своё революционное атеистическое откровение: «Бог умер» [273, с. 13]. В европейской истории бал начал править нигилизм и декаданс. Для Ф. Ницше нигилизм порождён крахом ценностей и идеалов, которые являлись основой европейской культуры. Девальвация ценностей толкает человека в ужасную экзистенциальную пустоту, и всё это происходит на фоне грандиозных успехов рационализма. Классическая философия склонна к вечным и абсолютным истинам, особенно в контексте объективного идеализма. Напротив, приоритет дионисического начала побуждает Ф. Ницше защищать здоровые инстинкты, изначально свойственные человеку, который способен на аристократические поступки. По его мнению, христианство уничтожило не только античный мир, но и подлинное понимание человека. Отвергая высокую мораль аристократии, христианская традиция утверждает «мораль рабов».

Безусловно, Ф. Ницше разочарован в человеке, и единственное, что философ ценил в человеческой природе, это то, что она представляет собой переходное явление. Он прекрасно понимал, что переход от последнего человека к сверхчеловеку — чрезвычайно опасное предприятие. По словам **Ф. Ницше**, «человек — это канат, закреплённый между зверем и сверхчеловеком, — канат над пропастью. Опасно переходить, опасно быть в пути, опасно оглядываться, опасны страх и остановка. Великое в человеке то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель» [273, с. 15].

В этой критической ситуации люди вынуждены решать трудную и ответственную дилемму: они либо окончательно погрязнут в варварстве, либо преодолеют нигилизм. Ф. Ницше не скрывал своего презрения к последнему человеку: «„Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое звезда?“ — так спрашивает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живёт дольше всех» [273, с. 18]. Ф. Ницше испытывал глубокую антипатию к безумным идеям равенства и социализма. Эти грубоуравнительные представления угрожают сложному обществу, так как скудоумие и сервильизм масс крайне разрушительны. Немецкий философ предчувствовал в массах грядущие угрозы, опасности и потрясения. Ведь социалистические химеры соблазняют духовно нищие толпы очень простой логикой и заманчивым обещанием абстрактного счастья. Уравнительные идеи губительны, так как они упраздняют качественное неравенство и аристократическое начало. Это самым негативным образом сказывается на интеллектуальном и творческом состоянии общества. В обществе доминирует тип самодовольного последнего человека, презирающего аристократическую культуру и благородство сильной личности.

В шопенгауэровской философии Ф. Ницше обратил особое внимание на понятие воли, и в ницшеанской философии оно становится универсальным. Воля к власти связана с феноменом жизни и распространялась Ф. Ницше на сферы растительного, животного и человеческого существования. Он рассматривал волю к власти в качестве главного стимула деятельности человека. По сути, это важнейший атрибут самой жизни. «Чтобы понять, что такое „жизнь“ и какой род стремления она представляет, — отмечал Ф. Ницше, — эта формула должна в одинаковой мере относиться как к дереву и растению, так и к животному» [272, с. 387].

Европейская цивилизация не устраивала немецкого философа, и он считал её глубоко упадочной и вырождающейся. В своих текстах он демонстрирует brutальное презрение к её слабости, а также навязчивую апологию естественной жизни и силы. Согласно Ф. Ницше, цель

культуры состоит в том, чтобы подавить, ограничить непосредственные феномены жизни. Это особенно характерно для европейской культуры, так как её основой является христианская религия. Именно в христианстве заключается драматическая проблема европейской цивилизации. Несмотря на постоянную апелляцию к демократии, свободе, философии индивидуализма, европейская традиция навязывает человеку функциональное существование. По существу, индивид оказывается в искусственных рамках, его индивидуальность нивелируется, а его воля беспрекословно подчиняется многочисленным законам и правилам в различных сферах жизни. Индивид, конечно, приспосабливается к искусственной среде и нормативному социальному порядку, но всё более и более утрачивает способность к творческому, спонтанному самовыражению. Он существует в своеобразной клетке, опутанной невидимой сетью фетишизированных абстракций [273, с. 14].

Ницшеанская философия, несомненно, отличается своей критической направленностью, и отнюдь не случайно в последний период его творчества на первый план выходит критика морали и религии, прежде всего христианства. Религиозные и моральные ценности с исторической точки зрения нестабильны, изменчивы, и в реальной жизни они порождают серьёзные противоречия. Поэтому именно генеалогия морали, как полагал Ф. Ницше, призвана выявить лицемерный, ханжеский характер моральных добродетелей христианской религии и, следовательно, европейской культуры. Цель его философии — историческое исследование происхождения предрассудков, существующих моральных ценностей. В сущности, это радикальная «переоценка ценностей», разоблачение искусственной и антижизненной конструкции, выступающей якобы подлинным основанием европейской цивилизации. В доницшеанский период философы представляли мир и общество как рациональное начало, воплощение божественного замысла или абсолютного разума. Человеческое бытие имело цель, логику и смысл. Социальный мир не был случайным и бессмысленным, и в нем существовал порядок, освящённый божественным авторитетом. Напротив, согласно точке зрения Ф. Ницше, христианские ценности — исторический тупик Европы, движение по пути деградации и вырождения. Альтернативой многовековой христианской традиции должны стать новые моральные ценности, базирующиеся не на религии или логике разума, а на первозданной воле к власти. По мнению Ф. Ницше, «ценность — это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии усвоить — человек, а не человечество! Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Дело идёт о типе — человечество просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося, поле обломков» [272, с. 393]. Конечно, Ф. Ницше крайне категоричен в оценке человеческой массы. Он признавал реальным жизненным феноменом только отдельного человека, способного проявить волю к власти. Напротив, человечество служит лишь средством достижения финальной цели — сверхчеловека. В метафорическом описании Ф. Ницше человек по сравнению со сверхчеловеком предстаёт как нечто уродливое и позорное. «Что такое обезьяна для человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [273, с. 13].

Упрощённый, примитивный взгляд на сложную жизнь, по Ф. Ницше, вызывает у большинства людей сильный ресентимент, потому что у слабого человека отсутствует внутренняя энергия, и, когда он встречается с благородным, сильным и красивым, он ощущает зависть, ревность, неприязнь. Однако слабый человек не способен открыто проявить такие чувства, поскольку он покорно подчиняется общественной морали. Он подавляет свои отрицательные чувства, но это лишь усиливает эффект ресентимента. Состояние бессилия усугубляется, тем не менее чувство злобы и мести искусно маскируется лицемерным благочестием. Ресентимент требует разрядки, и в принципе она может быть направлена на внешний или внутренний мир человека. Соответственно, ресентимент может воплотиться в изменениях общественной морали либо в индивидуальном моральном аскетизме. Эти этические идеалы проповедует христианство и социализм. По мнению Ф. Ницше, именно христианство является главным винов-

ником духовного упадка, который тормозит развитие подлинной жизни, обрекая европейцев на тупиковый путь нигилизма и дегенерации.

Итак, идеи Просвещения потерпели крах, и на этом фоне К. Маркс и Ф. Ницше предложили свои грандиозные философские схемы для преобразования человеческого бытия людей, которые несвободны, зависимы, слабы. Прежде всего, К. Маркс мечтал о справедливом обществе, формирующем нового, всесторонне развитого человека, Ф. Ницше — о сверхчеловеке, способном творчески создать новое общество. Руководствуясь возвышенной гуманистической идеей, К. Маркс разработал интегральную программу исторической деятельности, нацеленной на реализацию социалистического идеала. Революционная практика пролетариата, по логике К. Маркса, завершится преобразованием капиталистического общества, и социализм способен создать гуманистические условия для формирования новой, универсальной личности. Таким образом, программа К. Маркса направлена на то, чтобы в ходе классовой борьбы и пролетарской революции воплотить в жизнь коммунистический социальный идеал, а затем и идеал новой (коммунистической) личности. Между тем Ф. Ницше, как и К. Маркс, бунтовал против обывательского рационалистического счастья и видел в нем лишь воплощение декаданса и нигилизма. Однако ницшеанская философия, в отличие от марксовских идей, акцентирует внимание на футуристическом аспекте человека, но совершенно игнорирует очень важный вопрос о средствах достижения грядущей цели — нового типа человека, сверхчеловека. Неудивительно, что Ф. Ницше экспрессивно и поэтично критиковал последнего человека, но ничего не говорил о конкретных путях человеческого движения к конечной цели — «белокурой бестии». Программа этического преобразования человека выглядит откровенно слабо. Путь к сверхчеловеку неясен и туманен, а Ф. Ницше больше занят риторикой о сверхчеловеке, чем разработкой методологии перехода от человека к его финальному состоянию. Как он уверял, «сверхчеловек есть смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: „Да будет сверхчеловек смыслом земли!“» [273, с. 14]

Итак, в неклассической парадигме основным оппонентом рационализма становится иррационализм, который прежде занимал место на периферии классической философии. Теперь он претендует на построение целостных мировоззренческих моделей, но только на иррациональной основе. Для представителей неклассических школ характерна критика дискурсивного разума, неспособного, по их мнению, постичь многообразные и уникальные явления мировой культуры. Критикуя классический рационализм, иррационалисты делают акцент на дорефлексивном сознании индивидуального субъекта, чей духовный опыт невозможно выразить с помощью понятийного аппарата и логического анализа.

В рамках неклассической парадигмы учёный уже не занимает позицию трансцендентального наблюдателя, а исследует реальность изнутри, оставаясь своеобразной частью процесса научного познания. Познавательная деятельность всегда осуществляется в конкретной исторической ситуации и в контексте соответствующей картины мира. Между тем дифференциация прежде единой и целостной картины мира приводит к её распаду на множество отдельных фрагментов, обладающих своими специфическими закономерностями функционирования и развития. Это, в свою очередь, вызывает переориентацию с решения онтологических проблем на гносеологические, где основным вопросом является вопрос о поиске методов исследования, адекватных эпистемологическим целям и специфике изучаемых объектов. Как пишет В. С. Стёпин, «возникает понимание того обстоятельства, что ответы природы на наши вопросы определяются не только устройством самой природы, но и способом нашей постановки вопросов, который зависит от исторического развития средств и методов познавательной деятельности» [351, с. 447].

Неклассическая парадигма отвергает принцип эссенциализма и, в отличие от предшествующего типа рационализма, не занимается поиском сущности объективного мира, но уделяет первостепенное внимание познанию многообразных феноменов реальной действительности.

сти. Исследуя эти феномены, человек получает эмпирические знания благодаря своему опыту в чувственной, интеллектуальной и интуитивной деятельности, при этом абстрактное мышление играет уже далеко не абсолютную роль. Преобладание феноменализма и субъективизма приводит к отказу от принципа универсального закона, действующего одинаково и в природе, и в обществе. По мнению П. Сорокина, «линейные и эсхатологические теории социально-исторического процесса кажутся скорее спекуляциями, чем научными концепциями» [334, с. 11]. Теперь неклассическая парадигма обращает особое внимание на выявление функциональных связей и отношений между объектами, которые оказываются в фокусе исследовательского интереса. Соответственно появляются новые требования к изучению мира, делающие акцент на релятивистских целях исследователя. Фундаментальное значение в неклассической парадигме имеют принципы исторической обусловленности человеческого познания, относительности знания и невозможности достижения абсолютной истины, имеющей всегда временной аспект. Темпоральные характеристики неклассической науки и человеческого сознания показывают, что принципы и постулаты научного исследования носят исторический характер. Это, в свою очередь, стимулирует интерес к истории различных культур, имеющих свои самобытные черты и специфические возможности исторического развития. Вполне логично, что представление о прогрессе во всемирной истории и поступательном движении человечества к единой цели признано несостоятельным. Поэтому широкое распространение получают функциональные и структурные проблемы, идеи и концепты. В социальной науке особое внимание уделяется циклическим концепциям. Как утверждал П. Сорокин, «...изучение циклических и ритмических повторяемостей в социальных феноменах является в данный момент одной из наиболее важных задач социологии. Её нужно двигать вперёд всеми средствами, потому что она открывает многие возможности решения наиболее важных социологических проблем» [334, с. 12]. Реальные исторические события и точка зрения культурного плюрализма в гуманитарных науках стимулируют поиски новых подходов к познанию социального мира.

Однако, несмотря на новизну неклассической парадигмы, между типами классической и неклассической рациональности сохраняется взаимосвязь. Согласно мнению В. С. Стёпина, «...возникновение нового типа рациональности и нового образа науки не следует понимать упрощённо в том смысле, что каждый новый этап приводит к полному исчезновению представлений и методологических установок предшествующего этапа. Напротив, между ними существует преемственность. Некlassическая наука вовсе не уничтожила классическую рациональность, а только ограничила сферу её действия» [351, с. 455]. Поэтому и сегодня классическая рациональность играет существенную роль в научно-исследовательской деятельности. И здесь нет никакого логического парадокса. Попытки вообще упразднить классический рационализм приводят к сумеркам не только науки, но и просвещения, и бал начинает править дикое мракобесие, крайне вредное для интеллектуального и культурного развития современного общества.

Таким образом, неклассическая парадигма подвергает критическому анализу классический рационализм и предоставляет новые методологические и теоретические инструменты для исследования сложной социальной реальности, включая нелинейные процессы социальных трансформаций. В контексте постмодернистской философии и социологии неклассическая парадигма акцентирует внимание на фрагментарности, множественности перспектив и интерсубъективности знания, что позволяет более глубоко осмыслить динамику социальных изменений. В конечном счёте неклассические подходы способствуют развитию междисциплинарных исследований и обогащают методологический арсенал современной социальной науки, открывая новые горизонты для анализа и интерпретации социальных явлений и процессов.

1.3. Постнеклассическая парадигма

В начале III тысячелетия стало ясно, что прогрессистские прогнозы и оптимистические футурологические сценарии в большинстве своём опровергнуты реальной жизнью. В этой ситуации проблема социетальной динамики имеет особое теоретическое и практическое значение. Усиление глобальной турбулентности актуализирует вопрос о структурной перестройке кризисного мирового социума, и этот вопрос требует от социально-гуманитарных наук новых доказательных знаний. Однако структурно-синергетические закономерности и случайности, свойственные развитию самоорганизующегося общества, серьёзно осложняют его научное исследование. Следует признать, что социально-гуманитарные науки по большому счёту игнорируют проблему социального хаоса и исторической альтернативности, неявно разделяя иллюзию классической социологии о возможности полной рационализации общественной жизни. Между тем социальный хаос предстаёт как особый знак нашего времени, стимулируя поиски новых социальных теорий, которые учитывали бы нелинейные тенденции социетального развития. Действительно, сегодня в общественном сознании усиливается интерес к проблемам социальной динамики, тем более что ускорение темпа мировой истории порождает экзистенциальные риски и угрозы как на локальном, так и глобальном уровне. Это формирует интеллектуальную потребность в новых знаниях, адекватных возрастающим социальным флуктуациям, которые могут неожиданно спровоцировать глобальную бифуркацию.

В науке проблему взаимоотношений порядка и хаоса начали исследовать особенно активно с середины XX века. В частности, было установлено, что фундаментальной основой эволюционных изменений в сложных открытых системах является самоорганизация. Первоначальные концепции самоорганизации были сформулированы в кибернетике. Исследования сложных систем в рамках кибернетического подхода показали, что их эволюция имеет в своей основе процессы самоорганизации, проблема которой вскоре стала одной из наиболее актуальных тем в кибернетике. Учёные из разных областей нередко проявляли общность подхода к проблеме самоорганизации. По крайней мере, это имело место на уровне качественного понимания механизма, посредством которого осуществляется этот спонтанный процесс. Именно механизм самоорганизации стал предметом кибернетических исследований. В классической кибернетике была разработана модель кибернетического механизма самоорганизации, предусматривающая упорядочение структуры системы благодаря её обратной связи с окружающей средой. Подобные системы с точки зрения внутренних связей представлялись самосвязующимися, а по отношению к среде — самообучающимися. Кроме того, кибернетический механизм самоорганизации подразумевает наличие заранее заданной цели, к которой система стремится самостоятельно и в силу этого является самоорганизующейся.

В то же время о самоорганизации заговорили физики и химики, изучающие нелинейные неравновесные системы. Например, в 60-е годы прошлого века брюссельская школа И. Пригожина исследовала процессы самоорганизации в физических и химических системах, образующие диссипативные структуры. В конце 60 — начале 70-х годов немецкий физик Г. Хакен предложил научному сообществу проект новой отрасли знания — синергетики, описывающей явления самоорганизации в сильно неравновесных системах. Его работы положили начало активному изучению синергетических, кооперативных эффектов в процессах спонтанного формирования макроскопических структур [388; 389].

В настоящее время в разных областях знания, как естественно-научного, так и гуманитарного, используются идеи и установки синергетики, которая предлагает общенаучный подход к формулированию универсальных законов, релевантных для любых сложных систем. Важнейшей общей характеристикой таких систем является их способность при определённых условиях путём самоорганизации существенно изменять своё макроскопическое поведение.

Синергетика также исследует процессы самоорганизации, порождающие в сложных системах когерентность (согласованность) и новый макроскопический порядок [388, с. 231, 233].

Такой переход от классической и неклассической науки к постнеклассической является далеко не случайным. Как известно, в классической парадигме научного знания преобладает детерминистический стиль познания, согласно которому вся Вселенная — гигантские часы, управляемые неизменными законами ньютоновской физики. С точки зрения классического детерминизма мир, изучаемый наукой, моделируется как мир, жёстко связанный причинно-следственными отношениями. Образцом научных знаний являются динамические законы, а случайность трактуется как нечто второстепенное и досадное, что мешает общему течению событий, управляемых детерминистическими закономерностями. Роль личности зависит от социальных структур, единичное усилие не может заметно повлиять на ход истории. Неравновесность, неустойчивость воспринимаются как нечто отрицательное, сумбурное, сбивающее с правильной траектории. Развитие социального мира мыслится без вариантов, а в социальном познании превалирует линейный монистический подход [180, с. 4].

Синергетика, напротив, существенно изменила понимание социального развития, обогатив его нетривиальными представлениями о саморазвитии и самоорганизации открытых нелинейных систем, о выборе направлений эволюции в точках бифуркации, о важной роли случайных факторов в этих процессах. Если кибернетика и теория систем изучали в основном процессы гомеостаза, т. е. поддержания равновесия в разных, в том числе и социальных, системах посредством отрицательной обратной связи, то синергетика исследует нелинейные эволюционные процессы в системах, находящихся вдали от состояния равновесия. «По существу, нелинейность означает огромное разнообразие поведения и богатство возможностей, — пороговые эффекты, неединственность решений, существование хаотических траекторий, парадоксальный „антиинтуитивный“ отклик при изменении внешних воздействий» [162, с. 45].

На рубеже III тысячелетия, таким образом, формируется новая, постнеклассическая наука, учитывающая новые реальности в области глобальных рисков и научного познания [350]. Постнеклассическая наука предстаёт перед нами как новый познавательный феномен, очень важный с точки зрения его способности соответствовать вызову эпохи постмодерна. Дело в том, что социальный мир становится невероятно динамичным, а классический рационализм сформировался в условиях достаточно устойчивого бытия человека в прошлом. По понятным причинам классический рационализм просто не отвечает современной когнитивной задаче, и потому до сих пор исследование метаморфоз в социальном мире не столь удачно, как хотелось бы классикам социологии. Абсолютно ясно, что глобальные и локальные проблемы, угрожающие существованию человеческого рода, невозможно решить без новых научных знаний. Учёные мира знают и верят, что новую цивилизацию ещё можно создать, но её созидание немыслимо без новой научной парадигмы, без новой научной рефлексии о будущем. Вот почему так исключительно важно раскрыть творческий потенциал человечества, но это можно сделать только в рамках новой науки, новой философии. Драматическая дилемма нашего времени заключается в том, что трудности и кризисы или преодолеваются, или трансформируются в глобальную катастрофу. Третьего не дано, но даже такая убийственная логика не отрезвляет правящие классы и массы, ибо любая неизвестность, подкреплённая невежеством, тоже внушает иллюзии, чрезвычайно опасные в век бифуркации. Опыт истории говорит, что химеры не спасают, они лишь временно утешают, побуждая строить «зияющие высоты». Разрушить губительные иллюзии с помощью рациональных знаний — это первый шаг к гуманной цивилизации, но пока большинство людей, охваченных повседневными заботами, продолжают существовать в очень грустном мире, в котором непрестанно увеличиваются экзистенциальные риски. Тем не менее новые гуманистические и гносеологические перспективы вполне очевидны, даже если они вызывают ассоциацию с утопией. Несмотря на возрастающие гуманитарные риски, будущее человеческой мудрости связано с постнеклассической наукой. По

мнению В. С. Стёпина, «постнеклассическая наука расширяет поле рефлексии над деятельностью, в рамках которой изучаются объекты. Она учитывает соотнесённость характеристик получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и её ценностно-целевыми структурами» [349, с. 15]. Если классическая наука была ориентирована на постижение аналитически дифференцированных аспектов объективного мира, то постнеклассическая наука акцентирует внимание на комплексных исследовательских программах. Кроме того, объектами современных междисциплинарных исследований все чаще становятся сложные нелинейные системы, в том числе нестабильные общества, характеризующиеся открытостью и самоорганизацией. Именно нетривиальные идеи синергетики являются наиболее важным атрибутом современной общенаучной картины мира, пронизанной философией глобального эволюционизма. «Такая смена стратегических установок превращает человека в центральное звено научной картины мира. <...> Отсюда любая масштабная естественно-научная модель, игнорирующая факт существования человека, трактуется как заведомо недостоверная» [261, с. 92].

Постнеклассическая наука (и социосинергетика) открыто включает социальные и гуманистические ценности в структуру научного знания, провозглашая восстановление аксиологического смысла и цели научного познания, а также утраченной связи науки с человеком и его экзистенцией. Согласно И. Пригожину и И. Стенгерс, «в настоящий момент мы переживаем глубокие изменения в научной концепции природы и в структуре человеческого общества в результате демографического взрыва, и это совпадение весьма значительно. Эти изменения породили потребность в новых отношениях между человеком и природой так же, как и между человеком и человеком. Старое априорное различие между научными и этическими ценностями более неприемлемо» [303, с. 386].

В этой ситуации на роль новой научной парадигмы претендует синергетика, или теория самоорганизации. Синергетика придаёт современной картине мира постнеклассический характер, и новый тип рациональности интегрирует такие синергетические идеи, как нелинейность, неустойчивость, бифуркация, случайность, хаос, аттрактор и другие. Теория самоорганизации выступает в качестве методологической основы не только естественных, но и общественных наук. Синергетический подход ориентирован на поиск неких универсальных механизмов, принципов изменения и самоорганизации открытых нелинейных систем. Синергетика представляет собой междисциплинарное направление науки, в котором основную гносеологическую роль играют идеи о становлении порядка через хаос, случайности, необратимости времени, нестабильности и бифуркационных изменениях. «Синергетика оснащает нас инструментами анализа сложного поведения в мире, она развивает нетрадиционные средства объяснения сложных явлений природы, человеческого поведения и общества. Синергетика вносит вклад в понимание относительно простых принципов организации и самоорганизации исключительно сложных образований» [182, с. 55].

Синергетика как новая научная парадигма проблематизирует многие классические представления, эксплицируя нестандартный взгляд на структуру и динамику социального развития. Синергетический подход акцентирует внимание на исследовании уникальных, исторически развивающихся систем, которые проходят через точку бифуркации. В рамках социосинергетики сформулированы оригинальные идеи, представления и принципы научного исследования социальных изменений, включая бифуркационный процесс в обществе.

Во-первых, существенной составляющей частью социосинергетики является понятие энтропии, прямо связанной с хаосом и информацией. Энтропия — это мера того, насколько упорядоченной или хаотичной является система. Чем больше хаоса, тем выше энтропия. *В теории систем была разработана термодинамическая концепция информации, выявляющая закономерную связь между информацией и энтропией: при энтропии, стремящейся к бесконечности, информация стремится к нулю, и наоборот* [51]. В системе, эволюционирую-

щей в направлении упорядоченности, энтропия уменьшается, тогда как в дезорганизующейся системе, напротив, энтропия возрастает, что, в свою очередь, сопровождается понижением уровня информативности. *Наукой доказано: насколько накопилась информация, настолько уменьшилась энтропия [51].* Согласно известной теореме К. Шеннона, новая информация может возникнуть лишь благодаря взаимодействию системы с внешней средой, т. е. система должна быть открытой. Напротив, если система является изолированной, то она может какое-то время сохранять неизменное состояние своей структуры, теряя при этом способность адаптации к изменяющимся внешним условиям. В конечном счёте такая система деградирует в результате роста энтропии и разрушается под влиянием новых импульсов внешней среды [409]. *В предельно упорядоченной, жёстко детерминированной системе, изолированной от внешней среды, энтропия действует разрушительно. Тем не менее энтропия диалектически связана с информацией, и развитие системы представляет собой противоречивое единство и борьбу энтропийных и неэнтропийных процессов.* Более того, новая информация и в природе, и обществе, и творчестве человека возникает только при условии определённой энтропии, поскольку жёсткая структура сильно затрудняет возникновение инноваций и вообще ограничивает возможности развития системы.

Информация, следует подчеркнуть, является необходимым элементом в процессе развития социума наряду с веществом и энергией. Информацию можно понимать как меру порядка, а энтропию, напротив, как меру беспорядка и дезорганизации. По мнению немецкого учёного Г. Хакена, синергетическая информация — это информация, которая порождается кооперативным взаимодействием элементов системы в процессе самоорганизации. Такая информация одновременно отражает кооперативные свойства системы и относится к параметрам порядка. Синергетическая информация проявляется при переходе системы от неупорядоченного состояния к структурированному. В точках неустойчивости (бифуркациях) малые флуктуации могут усиливаться, порождая новые макроскопические паттерны. Информация об этих паттернах и есть синергетическая информация [388, с. 46, 240]. Синергетическая информация играет ключевую роль в процессе социетальной самоорганизации, поскольку она (информация) способствует тому, что социальные структуры начинают функционировать согласованно и когерентно. Информационная среда, возникшая в момент бифуркации, характеризуется параметром порядка [388, с. 47]. Этот параметр, с одной стороны, порождает кооперативное поведение структур и субъектов социума, а с другой — сам порождается их совместными действиями. *Рост синергетической информации является фундаментальным условием самоорганизации общества.*

Во-вторых, сложноорганизованным системам нельзя навязать пути развития. Более эффективный метод воздействия на системы состоит в том, чтобы способствовать их собственным эволюционным тенденциям и выбору конструктивного пути развития. Социосинергетика демонстрирует, что хаос присущ социальным системам как их неотъемлемое свойство. Хаос может выступать в качестве созидającego, конструктивного механизма эволюции. В моменты неустойчивости малые возмущения могут разрастаться в новые макроструктуры [180, с. 4].

В-третьих, социосинергетика даёт ещё одно методологически важное представление — *представление о нелинейности.* В современном социальном мире научная ограниченность линейного подхода так же очевидна, как и необходимость нелинейного мышления. Сложные открытые системы способны проявлять нелинейные эффекты, тогда как в политике и истории до сих пор доминирует линейное мышление, которое игнорирует синергетические аспекты окружающего нас мира. Как утверждает К. Майнцер, «линейное мышление и линейные действия могут привести к глобальному хаосу, хотя локально мы будем действовать с самыми лучшими намерениями» [229, с. 55].

В условиях бифуркации нелинейность демонстрирует весьма необычные свойства. Прежде всего, благодаря нелинейности в нестабильном обществе начинает действовать прин-

цип «усиления флуктуаций». Нелинейность может резко интенсифицировать социальные флуктуации, которые порождают не только хаос, но и возможности макросоциальных изменений. Общество в неустойчивом равновесии проявляет другое важное нелинейное свойство — пороговую чувствительность: ниже порога все уменьшается, например, в идеологии, политике, культуре, а выше порога, наоборот, все многократно возрастает. Это обеспечивает сравнительно быстрое утверждение в постбифуркационном социуме новой институциональной структуры [180, с. 10].

Нелинейность в нестабильном обществе означает возможность неожиданных изменений в направлении течения социальных процессов. Это вносит существенные помехи в процесс прогнозирования. Экстраполяция становится проблематичной и ненадёжной, поскольку она предполагает конкретную ситуацию, которая развивается только линейно. На самом деле социальное развитие носит нелинейный характер, причём выбор нового пути в момент бифуркации совершается через случайность, которая придаёт истории драматический характер. Хотя путей эволюции может быть много, их количество отнюдь не бесконечно. Возможны, реализуемы в данной нелинейной системе далеко не все те варианты, которые представлены идеологическими и утопическими доктринами [179, с. 132].

В-четвёртых, социосинергетика также изменяет классические представления о неустойчивости. Согласно точке зрения И. Пригожина, сегодня имеет место переход от детерминизма к нестабильности. В связи с этим он писал: «В детерминистическом мире природа поддается полному контролю со стороны человека, представляя собой инертный объект его желаний. Если же природа, в качестве сущностной характеристики, присуща нестабильность, то человек просто обязан более осторожно и деликатно относиться к окружающему миру, — хотя бы из-за неспособности однозначно предсказывать то, что произойдёт в будущем» [305, с. 28].

Социальная система как сложное взаимодействие множества элементов может находиться в различных состояниях. Устойчивость социальной системы — это способность социальной системы к самосохранению во взаимоотношениях с внешней средой. Однако «...устойчивость, доведённая до своего предела, прекращает любое развитие. Она противоречит принципу изменчивости. Чересчур стабильные формы — это тупиковые формы, эволюция которых прекращается» [251, с. 42]. Социальная система предстаёт как единство порядка и хаоса. Если же система, испытывая влияние флуктуирующих подсистем, отклоняется от стабильной линии развития и переходит порог устойчивости, то она оказывается в состоянии, далёком от равновесия, что чревато хаосом и бифуркацией.

В-пятых, *хаос разрушителен*, если социальная система достигает максимального развития и становится очень чувствительной к малым возмущениям на микроуровне. В этом случае социальная система демонстрирует тенденцию к распаду из-за влияния слабых хаотических флуктуаций. Социальная система терпит крах, и в хаотическом социуме начинается борьба между различными альтернативами за эвентуальное будущее. *Но в то же время хаос может выступать механизмом самоорганизации социальной системы, механизмом её выхода на новые пути исторического развития.* Когда социум оказывается в неустойчивом состоянии, включается механизм положительной нелинейной обратной связи, т. е. механизм быстрого, самоподстегивающегося роста. Находясь в таком состоянии, социальная система может необычайно сильно реагировать на случайные события на микроуровне, и тогда микрофлуктуации способны неожиданно разрастаться в макроструктуры. Таким образом хаос выступает в качестве позитивного, конструктивного начала [181, с. 42].

Методологические идеи социосинергетики, безусловно, весьма интересны и содержательны, но в контексте социологических исследований социального хаоса появляется невольный соблазн абсолютизации его значения в трансформационном процессе. Так, например, по мнению Г. Николиса и И. Пригожина, в точке бифуркации случайность играет решающую роль [268, с. 89]. В реформаторской политике догматизация такой точки зрения проявляется в ума-

лении позитивной роли государства вообще и социальных институтов в частности. Негативные результаты российской модернизации в 1990-х гг., в которой все решала «невидимая рука» рынка, общеизвестны.

Действительно, социальный хаос имеет очень большое, но не абсолютное значение. Он выступает как деструктивный фактор тогда, когда социетальная система, достигнув развитого состояния, стала весьма чувствительной к воздействию внутренних и внешних факторов. На этой стадии хаос возникает из социального порядка, который дестабилизируется различными флуктуациями. В процессе разрушения социального порядка принимают участие различные структуры, но именно те структуры, которые особенно активны, становятся промежуточными аттракторами, претендующими на роль доминантной структуры-аттрактора. По мнению Е. Н. Княzewой и С. П. Курдюмова, «структурами-аттракторами являются те способы (формы) организации процессов в открытых нелинейных средах разной природы, те относительно устойчивые макросостояния, на которые выходят процессы эволюции в этих средах в результате затухания, исчезновения промежуточных, или переходных, явлений» [181, с. 40]. В точке бифуркации есть определённый спектр эвентуальных форм организации (аттракторов), и ничего иного в качестве стабильного аттрактора не может быть сконструировано в этой системе [179, с. 132]. Однако в итоге побеждает один аттрактор, точнее, доминантная структура-аттрактор, упорядочивающая социальный хаос. По мнению С. Г. Кирдиной, в обществе возможны два устойчивых состояния (Х-структура — Восток, Y-структура — Запад), а остальные промежуточные состояния неустойчивы [171, с. 62—72].

Социосинергетика, таким образом, открывает новые возможности для исследования проблем развития общества, демонстрируя нетривиальные междисциплинарные научные результаты. Однако сегодня, несмотря на значительные успехи социальной синергетики, появляются явные и скрытые риски некорректного применения синергетических идей и представлений в социальном познании. В этой ситуации «синергетике следует быть саморефлексивной и самокритичной в отношении своих задач и возможностей» [182, с. 47]. Поэтому весьма актуальным является вопрос не только о перспективах социосинергетики, но и о том, где границы её познавательных возможностей. *Сегодня после многих лет научных споров и дискуссий становится более или менее ясно, что применение синергетики в исследовании социальных процессов в известной мере ограничено.* Стабильные социальные системы, взаимоотношение отдельной личности и устойчивого социума, поведение политического лидера в стабильной ситуации не могут быть адекватно поняты с позиций социосинергетики. Изучая в основном массовые процессы, синергетика не может получить точные научные результаты, когда предметом её исследования становится индивид со своими интересами, мотивами, желаниями и стремлениями. В рамках социосинергетики утверждается, что отдельная личность не влияет на макросоциальные процессы и общие тенденции развития общества, которое находится в устойчивом состоянии. Только в период бифуркации, когда социум становится неустойчивым, индивид способен оказать влияние на нелинейные социальные и политические процессы, если сумеет оказаться в нужное время и в нужном месте. Однако социальная синергетика только констатирует эту феноменологическую закономерность, но не знает механизма кооперативного поведения личности и структуры.

Кроме того, важной проблемой социальных наук, которая не может быть решена с позиций социальной синергетики, является проблема позитивного изменения социального порядка в гуманистическом направлении. Разумеется, активные структуры, интегрирующие массы, могут сыграть ключевую роль в процессе преобразования общества, если вызовут резонансный ответ с его стороны, но такой спонтанный вариант в наше время маловероятен. Опыт истории показывает, что в информационную эпоху более вероятны другие, контролируемые властью варианты, включая «цветные революции». Правящий класс, как правило, достаточно искусно манипулирует сознанием масс, используя широкие возможности государства и индустрии.

стрии массовой культуры, и поэтому действенные спонтанные акции в поле политики практически невозможны. Однако эта актуальная проблема не входит в предмет синергетической парадигмы, и более того, «синергетика не рассматривает возможность человека прямо и сознательно противодействовать макротенденциям самоорганизации, которые присущи социальным сообществам» [182, с. 58].

Постмодернизм и социология. Постнеклассической парадигме социальной науки во многом созвучны идеи и представления постмодернизма. Слово «постмодернизм» звучит необычно, и на первый взгляд в нем есть что-то интригующее, непонятное и многообещающее. То, что постмодернизм существует, уже ни у кого не вызывает и тени сомнения, но, что собой представляет этот многозначный феномен, недостаточно известно и понятно. Эклектика постмодернизма вызывает бесконечные дискуссии, и до сих пор вопросы остаются. Споры, конечно, будут продолжаться, поскольку такая ситуация вполне отвечает интенциям и установкам постмодернистского мышления. Важно отметить, что существуют различные оценки постмодернизма и различные подходы к его исследованию.

Постмодернизм в основном доминирует в гуманитарных науках, тогда как социологи довольно долго относились достаточно равнодушно к постмодернистскому стилю мышления. В конце концов идеи постмодернизма проникли и в социологию. Как отмечает Дж. Ритцер, «постмодерн включает в себя *новую историческую эпоху, новые произведения культуры и новый тип теоретизирования о социальном мире*» [312, с. 540]. Возникновение постмодернизма в области социологии вызвало острую критику со стороны профессионального социологического сообщества. Критике подвергаются многие принципы и установки постмодернистской социальной теории. Если модернистская социология стремится к универсальному знанию, релевантному для социального реформирования, то постмодернисты отрицают саму идею социального переустройства общества. Постмодернизм отвергает такие фундаментальные методологические принципы классической парадигмы, как универсализм, рациональность, монизм, линейность, детерминизм и другие, которые позволяют обеспечить объективное достоверное знание, существенное для критики и модернизации общества. Постмодернистское мышление больше склоняется к локальному рассказу, иррационализму, множественности, индетерминизму, нелинейности и нигилизму. Приверженцам постмодернизма нравится отрицать, и главный концепт их размышлений или графомании — концепт нигилизма. Нужно только все отрицать, и получится что-нибудь интересное с точки зрения пиара, хотя маленькое постмодернистское повествование, скорее, окажется малоубедительным. Постмодернисты выдвинули много творческих идей, и этот отрадный факт можно было бы только приветствовать, но всё то, что они предлагают, в большинстве своём слишком абстрактно, фрагментарно, экстравагантно и малоубедительно. Впрочем, в эпоху постмодерна доказательства мало кого интересуют: самое главное — имитация, проникнутая навязчивой модой цитирования, интерпретации, комментирования. Понятно, во всем этом интеллектуальном хаосе найти созидательный смысл крайне трудно, но суть постмодернизма как раз и состоит в том, что процесс критики общества более важен, чем программа созидания и действий.

Постмодернисты также отрицают представление о метасказаниях, свойственных научному знанию модерна. Они считают, что большой универсальный социологический синтез, связанный с творчеством социальных мыслителей классической социологии, уже больше неприемлем. По их мнению, большие повествования социологов порождают логику тотальности, крайне опасную с точки зрения демократии и свободы. Универсальный социологический синтез в стиле К. Маркса и Т. Парсонса ведёт не к освобождению индивида, а к тотальному контролю общества над ним. Опыт XX века показал, что социологические метасказания, провозглашавшие идеалы свободы и равенства, обернулись чудовищной практикой тоталитаризма. Поэтому постсовременная социальная наука отвергает большие нарративы и сосредото-

тачивается на исследовании локальных миров отдельной личности. Социальный учёный, считают постмодернисты, должен заниматься только микросказаниями, неспособными породить тотальные практики.

Принцип множественности, свойственный постмодернистскому дискурсу, позволяет постмодернистам занимать релятивную позицию и формулировать парадоксальные, часто взаимоисключающие мысли. Так, Ж. Бодрийяр, осуществляя критический анализ постсовременного общества, вообще отрицает концепт социального. «Но тогда, — пишет французский теоретик, — если социальное, во-первых, разрушается — тем, что его производит (средствами информации и информацией), а во-вторых, поглощается — тем, что оно производит (массами), оказывается, что его дефиниция не имеет референта, и термин „социальное“, который является центральным для всех дискурсов, уже ничего не описывает и ничего не обозначает» [38, с. 73].

В обществе постмодерна не только исчезает социальное, но и появляется гиперреальное. Согласно Ж. Бодрийяру, мы живём в мире не просто образов. Это — вездесущие и всемогущие образы, сфабрикованные массовой коммуникацией, и они играют беспрецедентную роль в жизни людей. Постсовременное общество — это гиперреальность, которая радикально отличается от обычной социальной реальности в общепринятом значении этого слова. Сверхреальность создаётся средствами массовой коммуникации, которые тиражируют ложь, мифы, сплетни, новости и многое другое, что трансформируется в новые образы. Иначе говоря, все эти идеологемы, благодаря компьютерам, телевидению, Интернету и другим цифровым технологиям, становятся новой реальностью — сверхреальностью. Это искусственно сконструированная реальность (сверхреальность) воспринимается массами как более реальная, чем объективная действительность. Реальные события исчезают в потоке ярких, красочных сведений о реальной действительности, и в конечном счёте остаётся только гиперреальность, блестящая, ослепительная, захватывающая. Массам эпохи постмодерна больше нравится гиперреальность, чем живая действительность. По сути, массы превращаются в рабов цифровых технологий, но этот униженный рабский статус воспринимается ими иначе. Дело в том, что современные цифровые рабы, постоянно находясь в контексте технотронных систем, испытывают ощущение своей собственной исключительности как авангарда, и они, естественно, не осознают «эффекта матрицы». Массам интересно, приятно и комфортно в условиях сверхреальности, сфабрикованной новой мегамашиной производства виртуальных симуляций и грёз, а эмпирическая действительность кажется им невероятно скучной и монотонной. В этой связи Ж. Бодрийяр пишет: «И призыв к массам, в сущности, всегда остаётся без ответа. Они не излучают, а, напротив, поглощают всё излучение периферических созвездий Государства, Истории, Культуры, Смысла. Они суть инерция, могущество инерции, власть нейтрального. Именно в этом смысле масса выступает характеристикой нашей современности — как явление в высшей степени импозитивное, не осваиваемое никакой традиционной практикой и никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и любой теорией» [38, с. 7]. В постмодернистском обществе исчезло социальное, и вместо него на арене истории царят индифферентные массы, наслаждающиеся гиперреальностью и абсолютно равнодушные к всяческим призывам, идеям, целям и планам, которые спорадически пытаются транслировать различные субъекты политики. Время довольно скоро разоблачает их, и все видят, что эти субъекты тоже пресловутые симулякры, бессильные перед массами. Спектакль без героев продолжается бесконечно, и лишь одиночество в виртуальной толпе — настоящая реальность для каждого индивида, когда он пытается выбраться из необоримых тенет масс.

На первый взгляд мир гиперреальности и массмедиа выглядит необычайно стабильным, но подлинная жизнь иногда вторгается в этот мир иллюзий и грёз. Тогда приятная виртуальная реальность утрачивает свои призрачные, иллюзорные качества, и на потребителя обрушиваются невыносимо печальные сведения о бедности, нищете, бесправии огромной массы реально живущих людей. Все догадываются, что за внешним блеском гиперреальности кроется неуве-

ренность, отчуждение и страх людей. Атомизированные индивиды бросаются за утешением в новый мир грёз — Интернет, но он не в состоянии предложить им смысл и глубину настоящей жизни. Многочисленные интернет-ресурсы предоставляют лёгкий доступ к бесконечно развлекательному контенту, но это лишь средство мнимой психологической компенсации. В результате человек разумный, лишённый экзистенциальной цели, может легко регрессировать до уровня примитивного существования, ориентированного исключительно на удовлетворение биологических потребностей. Скука, одиночество, пессимизм и отчаяние в глобальной «электронной деревне» — вот будущее, которое уже имеет место в настоящем в виде отрывочных частей и фрагментов гиперреальности, но скорость приятной деградации людей неумолимо увеличивается.

Резюме

Итак, в постнеклассической науке внимание фокусируется на комплексных исследовательских программах, в которых объектами исследований становятся объекты с синергетическими свойствами. Это принципиально новый момент в развитии и усложнении постнеклассической парадигмы. Действительно, всё чаще объектами современных междисциплинарных исследований становятся саморазвивающиеся системы, в том числе нестабильные общества, характеризующиеся открытостью и самоорганизацией. По мнению В. С. Стёпина, «саморазвивающиеся системы представляют собой особый тип системных объектов. <...> Такие системы периодически проходят через состояние неустойчивости, фазовых переходов, которые могут быть описаны в терминах динамического хаоса. В этих состояниях возникают точки бифуркации, небольшие флуктуации могут порождать странные аттракторы, которые определяют возможности дальнейшего развития системы» [347, с. 41].

В современной науке и философии важную роль играет парадигма синергетики (самоорганизации), интегрирующая естественно-научное и гуманитарное знание, которая позволяет по-новому посмотреть на социальную реальность, особенно в период бифуркации. «Синергетика может рассматриваться как позитивная эвристика, как метод экспериментирования с реальностью... Она даёт возможность рассмотреть старые проблемы в новом свете, переформулировать вопросы, переконструировать проблемное поле науки» [178, с. 70]. Синергетика наиболее полно выражает парадигмальный сдвиг к смене методологических установок и принципов современной науки. Несомненно, именно синергетическая парадигма интегрирует основания «трансдисциплинарной единой теории» [209, с. 80], предметом которой становится Универсум как целостная эволюционирующая макроструктура, частью которой является человеческое общество. Социосинергетика позволяет отделить рационализм от механического детерминизма и обогатить исследование социальных изменений анализом нелинейных процессов. *В этой ситуации социосинергетике следует ясно осознать свои познавательные возможности и границы, так как это позволит получить более конкретные научные результаты и в какой-то степени уменьшить модное репродуцирование синергетической схоластики.*

Социодинамика социума зависит от его внутренних противоречий, хотя внешнее воздействие может быть весьма значительным, например, в момент бифуркации. Социосинергетика фокусирует внимание на открытых нелинейных системах, где возникают флуктуации, нестабильность, колебания. В неустойчивом состоянии отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций может стать необычайно сильной и вызвать в социуме бифуркацию. В результате структура социума не выдерживает напряжения и разрушается. В момент бифуркации принципиально невозможно предсказать, в каком конкретном направлении пойдёт развитие общества. Перед ним открывается спектр различных будущих альтернатив. Таким образом, один из ключевых моментов социосинергетики — это возможность спонтанного, самопроизвольного возникновения порядка из хаоса. В момент бифуркации взаимодействие хаоса и порядка представляет собой основное содержание нелинейных процессов в кризисном социуме. Исход бифуркации зависит от универсальных принципов и хаотических флуктуаций.

Социосинергетика, без всякого сомнения, нуждается в дальнейшем творческом развитии. Новый эвристический ракурс, по моему мнению, открывает структурно-синергетическая концепция социодинамики, предполагающая междисциплинарный подход к исследованию социально-исторического развития России. Как известно, классическая социосинергетика уделяет основное внимание исследованию динамики нелинейных социальных систем, прежде всего в период бифуркации. В то же время устойчивые структуры, особенно существующие в контексте длительной временной протяжённости, не входят в предмет социальной синергетики. Более того, социосинергетика, как показывает научный опыт, неэффективна в исследовании стабильных трансисторических структур, поскольку такие синергетические понятия, как нестабильность, хаос, бифуркация, аттрактор, не отражают адекватно конкретные реалии устойчивой исторической ситуации. Поэтому социосинергетика должна не только пройти через этап критического самоанализа, но и разработать новые модели, отвечающие проблеме исследования процессов как на эволюционной, так и бифуркационной стадиях развития российского социума.

2. ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ ОТ ЗАПАДА ОСТАЛЬНОГО МИРА

*Тысячи путей уводят от целей,
и лишь один-единственный ведёт к ней.
М. Монтень*

Причины циклического замедления темпа исторического развития российского общества вызывают драматически противоречивые споры и дискуссии. Несомненно, предмет теоретических разногласий неимоверно сложен и в определённом смысле является частью проблематики глобального взаимодействия Запада и Востока. В связи с этим американский историк И. Моррис задаёт классический вопрос: почему властвует Запад? [257, с. 17] В контексте русской истории этот глобальный вопрос звучит несколько иначе: почему Россия отстаёт от Запада? Это беспрецедентный вызов в русской истории, и многие поколения нашего народа, переживая бесконечные страдания и горести, пытались ответить на него посредством удивительного долготерпения и самоотверженных исторических деяний. Неслучайно русский народ демонстрирует свои наилучшие качества в предельно критической ситуации. Россия периодически, особенно в эпоху модерна, прилагала колоссальные мобилизационные усилия, чтобы преодолеть историческое отставание от развитых европейских государств, которым удалось создать механизм устойчивого эволюционного развития. Однако парадокс русской истории состоит именно в том, что каждый исторический рывок России давал кратковременный эффект, а затем вновь проявлялось наше системное отставание от западных геополитических конкурентов. История как бы насмехается над отчаянными попытками российского народа разрешить этот проклятый вопрос.

Сравнительный анализ причин отставания Востока и России от Запада позволяет более точно и глубоко понять общие и специфические причины исторической отсталости нашей страны. Это особенно важно как в теоретическом, так и прикладном отношении, поскольку данная проблематика прямо связана с политикой модернизации, проводимой на протяжении новой истории различными российскими правительствами. Однако и в начале XXI века Россия в очередной раз столкнулась с острейшей проблемой преодоления промышленного, научно-технологического и социально-экономического регресса. Вот почему так актуальна проблема генезиса западного капитализма, в рамках которого удалось создать механизм самоподдерживающегося экономического и социально-исторического роста.

2.1. Географический подход

Планетарное неравенство народов в начале XVI века, когда началась колониальная экспансия европейцев, возникло в результате технологического, экономического и политического превосходства Запада. Это общеизвестные факты, но американский учёный Джаред Даймонд задаёт вполне логичный вопрос: каким образом мир пришёл к такому положению? Исследуя феномен неравномерности исторического развития стран мира, Дж. Даймонд опирается на новые сведения, которые были получены такими отраслями науки, как история, археология, генетика, молекулярная биология, биогеография, лингвистика и др. Важную роль в новом понимании этой проблематики играют исследования в области истории техники, письменности и политической организации. В книге «Ружья, микробы и сталь» (1997) он пытается выяснить причины исторического отставания остального мира от Европы, рассматривая мировую историю в широком географическом контексте.

Американский учёный формулирует ключевой вопрос исследования: почему на разных континентах история развивалась так неодинаково? И он констатирует вполне очевидные факты: «За тринадцать тысяч лет, минувших с конца последнего оледенения, в некоторых частях мира развились индустриальные общества, владеющие письменностью и металлическими орудиями труда, в других — бесписьменные аграрные общества, в-третьих — лишь общества охотников-собирателей, владеющих технологиями каменного века. Это сложившееся в истории глобальное неравенство до сих пор отбрасывает тень на современность — как минимум потому, что письменные общества с металлическими орудиями завоевали или истребили все остальные» [111, с. 11]. Эти эмпирические факты хорошо известны в науке, но их объяснение до сих пор вызывает научные споры. Пытаясь объяснить это глобальное неравенство, в социальных науках выдвинуто много различных гипотез и теорий, начиная от расово-антропологических и социал-дарвинистских и заканчивая современными экономическими, историческими и социологическими. Тем не менее до сих пор по этому научному вопросу нет общепринятого теоретического согласия. С точки зрения Дж. Даймонда, эти объяснения отнюдь не убедительны, и он выдвигает свою исследовательскую гипотезу: «История разных народов сложилась по-разному из-за разницы в их географических условиях, а не из-за биологической разницы между ними самими» [111, с. 29]. Новизна исследовательского подхода Дж. Даймонда заключается в том, что он предлагает рассмотреть проблему мирового неравенства с точки зрения географии, опираясь при этом на современные достижения как социальных, так и естественных наук. Хотя его методологическая позиция вызывает критику, чаще всего это упрощённый взгляд, повторяющий трюизмы традиционной критики географического детерминизма.

В ходе своего исследования Дж. Даймонд подверг критике мейнстрим в социальных науках, посвящённый поискам причин отставания от Европы других частей света. Расистская доктрина, оправдывающая колониальные завоевания Запада, совершенно несостоятельна с точки зрения современной науки. Генетические исследования показывают, что в биологическом отношении человечество едино. Научные эксперименты не выявили интеллектуальных различий между человеческими расами. Иначе говоря, европейцы не имеют врождённого расового превосходства над остальными народами мира [111, с. 20—21].

Учёный отвергает и климатическую гипотезу, согласно которой холодный климат оказывает стимулирующее воздействие на развитие общества. Однако исторические факты не соответствуют этой гипотезе. Как известно, до последней тысячи лет все новшества (колесо, земледелие, письменность, металлургия) приходили в Северную Европу из более тёплых регионов Евразии [111, с. 24].

На первый взгляд концепция «великих рек», предполагающая их основную роль в развитии первых цивилизаций, выглядит довольно убедительно. Действительно, в местах с засушливым климатом, чтобы эффективно заниматься земледелием, нужны большие оросительные системы, и для их строительства требовалась организация централизованной бюрократии. Несомненно, древнейшие империи и системы письменности происходили из долин Тигра, Евфрата, Нила, Инда, Хуанхэ, Янцзы и др. Однако археологические исследования не подтверждают такую зависимость, поскольку появление сложных ирригационных сооружений следовало со значительным отрывом от роста бюрократии. Более того, племенные общества, жившие в районе речных долин Юго-Восточной Австралии, вообще не занимались земледелием. Таким образом, концепция «великих рек» не подтверждается современными историческими исследованиями [111, с. 25].

Согласно точке зрения Дж. Даймонда, многофакторный подход, объясняющий победу европейцев над другими народами тем, что в Европе было огнестрельное оружие, инфекционные болезни, стальные орудия труда и промышленные товары, тоже оказался неубедительным. Этот подход раскрывает лишь непосредственные причины поражения неевропейских народов, но не отвечает на самый главный вопрос: почему именно у европейцев появились ружья, микробы и сталь? [111, с. 26]

Американский учёный, чтобы ответить на этот вопрос, обращается к естественным экспериментам, которые поставила реальная история. Особенно показательна и трагична, с его точки зрения, история народов маори и мориори, которые прежде были единым этносом. В декабре 1835 г. на архипелаге Чатем, что в 500 милях к востоку от Новой Зеландии, местный народ мориори столкнулся с военным нападением маори. Этот межэтнический конфликт обернулся для мориори ужасной трагедией. «В течение нескольких дней маори убили сотни островитян, употребив тела многих из них для победной трапезы, остальных обратили в рабство и за несколько лет практически истребили мориорийцев поголовно, взяв в привычку лишать жизни своих новых рабов по малейшей прихоти» [111, с. 64]. Такой страшный и беспощадный исход столкновения маори с мориори был предreshён их географией и историей.

Мориори жили в условиях малых территорий, и им не хватало природных ресурсов. Ограниченность населения вызвала введение культурных запретов на [каннибализм](#), являвшийся частью традиций их предков — маори. Мориори жили охотой и собирательством, используя простейшие орудия. Попытка сохранить свой народ вызвала введение культурных и религиозных запретов на ведение войн. Мориори были очень миролюбивы и практически не вели войн. Вследствие этого у них совершенно отсутствовал опыт боевых действий, а оружие было примитивным. Простая община охотников-собирателей вполне обходилась без принудительной организации. Их элементарная жизнь не нуждалась в жёстком руководстве.

Напротив, захватчики — маори с новозеландского Северного острова выросли в густонаселённой области, где занимались земледелием. Они использовали более совершенные орудия труда, более совершенное оружие и вели между собой постоянные войны, которые способствовали развитию их боевого опыта. Маори, в отличие от мориори, уже были знакомы с военной организацией, дисциплиной и подчинением. Но особо трагическую роль сыграло огнестрельное оружие, которое в начале XIX века маори получили от европейцев и начали применять его в межплеменных сражениях. Неудивительно, что военный конфликт между этими популяциями завершился тем, что маори зверски расправились с мирными мориори, а не наоборот.

Трагическая история мориори свидетельствует о том, что столкновения простого общества с более сложным и развитым заканчивается поражением того, кто отстаёт в организационном и технологическом отношении. Но страшный парадокс этого конфликта состоит в том, что и то и другое племя относились к полинезийской семье. Маори и мориори — потомки полинезийских земледельцев, которые в 1250—1300 годах колонизировали Новую Зеландию. Некоторое время спустя, в начале XIV века, часть этих маори в свою очередь колонизировала

архипелаг Чатем и стала называть себя мориори. Эти народы объединяла общая культура, язык, материальная жизнь. Однако далее они развивались раздельно в течение многих веков. Теперь у них была разная география, которая вызвала кардинальные социальные изменения. Маори Северного острова занимались земледелием, осваивали его новые агрокультурные формы и постепенно пришли к более сложным технологиям и политической организации. Напротив, первые мориори попали в неблагоприятные географические условия, которые существовали на архипелаге Чатем. Хотя переселенцы были земледельцами, сырой и холодный климат на островах не позволил им заниматься земледелием. Большинство тропических культур, известных тогда полинезийцам, было невозможно выращивать на новой родине. В этих условиях основным источником питания первопоселенцев стали морские котйки, моллюски, морские птицы и рыба. Под влиянием географической среды мориори вынуждены были снова обратиться к охоте и собирательству, что привело к замедлению их исторического развития [111, с. 65].

Таким образом, географическая среда была главным фактором, который детерминировал существенные различия в исторических судьбах этого некогда единого этноса. История мориори и маори является, по сути, естественно-географическим экспериментом, хотя и ограниченным по длительности и масштабу, на примере которого выясняется, как природная среда обитания влияет на человеческое общество. Поэтому Дж. Даймонд, несомненно, прав, когда утверждает, что, «если бы мы могли понять причины такой разницы в развитии двух островных обществ, у нас, возможно, была бы модель для понимания более широкого контекста истории — неравномерного развития целых континентов» [111, с. 65—66].

Столкновение Старого и Нового Света можно рассматривать как великий исторический эксперимент, свидетельствующий о закономерности ужасной трагедии отсталых народов, когда они сталкиваются с более развитой цивилизацией. Согласно утверждению Дж. Даймонда, непосредственными факторами завоевания доколумбовой Америки были болезнетворные микробы, технологии, политическая организация и письменность [111, с. 455]. В конце XV века население Старого и Нового Света занималось в основном сельским хозяйством. Неизбежными спутниками производства продовольствия являются микробы. В то время в Европе царила антисанитария, и множество людей погибало от инфекционных болезней. Вследствие этого в скученных евразийских обществах к ним постепенно выработалась врождённая устойчивость. Напротив, народы Нового Света были совершенно беззащитны перед такими страшными инфекционными болезнями, как оспа, корь, грипп, чума, туберкулез, сыпной тиф, холера, малярия и т. д.

Другим фактором безусловного превосходства европейцев над индейцами являлся исторический разрыв в технологическом развитии. По оценке Дж. Даймонда, технологический разрыв имел следующие ключевые параметры [111, с. 456—458]:

Во-первых, в Старом Свете все достаточно сложные общества уже давно использовали металлы для изготовления орудий труда. Напротив, все коренные общества Америки продолжали пользоваться каменными, деревянными и костяными орудиями, и лишь в некоторых местах ограниченно применялись орудия из меди.

Во-вторых, сила и эффект военных технологий конкистадоров по сравнению с индейскими были просто убийственными. На вооружении у завоевателей были стальные мечи, копья и кинжалы, дополненные стрелковым оружием и артиллерией, их защищали стальные шлемы, латы и кольчуги. Наоборот, индейцы воевали дубинами и топорами из дерева и камня, пользовались пращами и луками и носили стеганные доспехи. Однако все это явно уступало по эффективности металлическому и огнестрельному оружию. Кроме того, в войсках коренных американцев не было конницы, и поэтому кавалерия конкистадоров имела подавляющее превосходство над пехотой аборигенов.

В-третьих, общества Старого Света демонстрировали огромное преимущество с точки зрения доступности источников механической энергии. Первым изобретением в этой сфере

стало использование скота и водяных, приливных и ветряных мельниц в практической деятельности человека. Напротив, в доколумбовой Америке все работы, как правило, выполнялись только рабочей силой людей.

В-четвертых, евразийцы изобрели колесо и сделали его основой почти всякого передвижения грузов, гончарного дела и часовых механизмов. Наоборот, индейцам не было известно ни одно из этих употреблений колеса.

В-пятых, многие евразийские страны уже имели большие парусные корабли, в том числе способные идти против ветра и пересекать океан, оснащенные секстантами, компасами и вооруженные пушками. По техническим, военным и мореходным качествам эти корабли многократно превосходили плоты, которые применяли коренные американцы в торговле.

На взгляд Дж. Даймонда, технологический разрыв дополнялся политическими преимуществами евразийских государств. Когда Х. Колумб осуществлял свою историческую морскую экспедицию, в Евразии уже существовали сложно организованные государства, способные контролировать почти всю евразийскую территорию. Многие государства и империи Старого Света имели официальную религию и применяли её как институциональное средство культурной консолидации обществ, легитимации политического руководства и оправдания войн с другими народами. Напротив, в доколумбовой Америке 1492 г. было только два государства, ацтекское и инкское, которые занимали большую территорию, имели многочисленное население и были способны к мобилизации больших трудовых и военных ресурсов, тогда как в Евразии это могли сделать многие государства [111, с. 459].

Бесспорное преимущество Евразии перед доколумбовой Америкой проявилось и в письменности. В евразийских государствах был грамотный бюрократический аппарат, образованная часть общества умела читать и писать. Письменность играла ключевую роль в развитии человеческой культуры и обеспечивала евразийским обществам самые разнообразные экономические, политические, социальные и интеллектуальные преимущества. Напротив, в индейских обществах круг грамотных ограничивался элитой, а ареал распространения — небольшой областью Мезоамерики. Хотя в Инкской империи существовала счётная и мнемоническая система с использованием узелков, но в качестве средства передачи точной информации она, разумеется, уступала письменности [111, с. 460].

Итак, в момент открытия Америки у обществ Евразии имелись основательные преимущества перед обществами коренных американцев, прежде всего в производстве продовольствия, технологиях, политической организации и письменности. Совершенно очевидно, что именно эти преимущества стали главной причиной исхода столкновений Нового и Старого Света. Однако Дж. Даймонд полагает, что межконтинентальные различия по состоянию на 1492 год представляют собой лишь момент краткого исторического времени, тогда как длительные исторические траектории Америки и Евразии уходят в далёкое прошлое. Следовательно, нужно рассмотреть предшествующие стадии самостоятельной эволюции развития аборигенных американских и евразийских обществ в макроисторическом и географическом контексте.

Согласно концепции Дж. Даймонда, главная исходная причина неравенства между странами Евразии и доколумбовой Америки заключалась в том, что была огромная разница в производстве продовольствия. Особенно сильно американское производство продовольствия отличалось от евразийского в сфере животноводства. Сравнительный анализ показывает, что в Евразии существовали крупные виды домашних животных (одноголовый верблюд, двугорбый верблюд, осел, северный олень, азиатский буйвол, як, бантенг, гаур, корова, овца, коза, свинья и лошадь), которые обеспечивали евразийцев молоком, мясом, шерстью, кожей. Большую роль одомашненные животные играли в сельском хозяйстве в качестве тягловой силы на полях и производителей навоза. Они были основным транспортным средством, обеспечивая перевозку грузов и людей по суше, а также незаменимым инструментом войны. Более того, крупный скот

служил важнейшим источником энергии для производственных нужд, в частности для вращения мельничных жерновов или механического подъёма воды. Наоборот, в Америке ситуация была диаметрально противоположной: коренные американцы имели только одно одомашненное крупное животное — ламу/альпаку, но ареал её обитания был весьма ограниченным. Таким образом, в Новом Свете почти полностью отсутствовали дикие млекопитающие, которых можно было одомашнить. Эта капитальная разница возникла в первую очередь вследствие вымирания в позднем плейстоцене большинства видов крупных диких млекопитающих Северной и Южной Америки. Поэтому, естественно, первые земледельцы Америки не могли полностью отказаться от охоты и собирательства. С точки зрения Дж. Даймонда, ограниченные возможности domestikации были фундаментальным фактором, обусловившим задержку развития Нового Света [111, с. 452].

География оказывает существенное влияние на процессы коммуникации в широком смысле этого слова. Так, более скорое развитие Евразии, по мнению Дж. Даймонда, было вызвано лучшими по сравнению с Америкой условиями для миграции человеческих популяций, распространения хозяйственных животных и культур, обмена идеями и технологиями. В свою очередь, это преимущество носило географический и экологический характер. В частности, преобладающая ориентация Евразии вдоль оси восток-запад, в отличие от северо-южной ориентации Америки, создавала более благоприятные условия для культурной диффузии. В противоположность Евразии географическая конфигурация Нового Света очень сужена по всей длине Центральной Америки и особенно в районе Панамы. Кроме того, территориальная раздробленность Америки усугублялась регионами, непригодными для нормальной хозяйственной жизни. В результате ни домашние животные, ни письменность, ни политические образования не распространялись за пределы Мезоамерики, а обмен культурными достижениями между народами был очень медленным [111, с. 458—459].

Итак, в длительной исторической ретроспективе Дж. Даймонд выявил фундаментальные отличия континентов друг от друга в географическом отношении, обусловившие в конечном итоге успех европейского завоевания Америки. Как он утверждает, «...европейское покорение Америки явилось лишь естественной кульминацией двух протяжённых и большей частью не пересекающихся исторических траекторий. Разница между этими траекториями была предопределена географическими особенностями континентов, а именно различиями в составе пригодных для одомашнивания растений и животных, в микробах, во времени заселения, в ориентации континентальных осей и, наконец, в существующих экологических барьерах» [111, с. 37].

В контексте Евразии чрезвычайно интересен вопрос о соперничестве Европы и Китая. Как известно, на протяжении средних веков Китай был лидирующей технологической державой. Китайцы изобрели ряд исторически важных новаций: чугунное литье, компас, порох, бумага, книгопечатание и ещё многое другое. Китай также имел самое крупное в мире государство, самый мощный флот и контролировал самое обширное морское пространство. Несмотря на грандиозные достижения в сфере техники и технологий, Китай со временем все-таки уступил технологическое первенство Европе. Поэтому вполне справедливо Дж. Даймонд задаёт классический вопрос: почему это произошло?

По его мнению, в макроисторические процессы могут вмешиваться события на микроуровне. Именно это произошло в Китае, когда после семи крупных экспедиций, организованных с 1405 по 1433 год, китайская морская экспансия была приостановлена. Это случилось из-за ординарного внутривластного конфликта. Действительно, в результате подспудной борьбы между двумя дворцовыми фракциями поражение потерпела та группировка, которая покровительствовала и организовывала морские экспедиции. Когда сторонники морской экспансии потерпели политическое фиаско, экспедиции были прекращены, судостроительные верфи вскоре разобраны, а дальнейшее мореплавание попало под запрет. Поскольку Китай

был централизованным государством, то решение верховной власти привело к прекращению морских экспедиций в масштабе всей страны. Неправильное управленческое решение имело крайне негативные стратегические последствия: все судостроительные верфи разобрали, и Китай, само собой разумеется, утратил свои лидирующие позиции в сфере кораблестроения и дальнего мореплавания.

Европа, в отличие от единого императорского Китая, была раздроблена, и, хотя Х. Колумб несколько раз терпел неудачу, с пятой попытки он сумел убедить одного из сотен европейских князей профинансировать его морское предприятие. Множество стран и плюрализм мнений способствовали внедрению инноваций в Европе, и недальновидное решение в одном государстве, как правило, компенсировалось в другом. В то же время политическая раздробленность, в какой-то степени возмещённая единым христианским мировоззрением, не препятствовала европейской популяционной и культурной диффузии. Поэтому изобретения и новации в одной стране довольно быстро становились достоянием всей Европы.

Неудачные решения в едином Китае вызвали отрицательные колоссальные последствия, хотя что-то в тактическом плане, возможно, приобретал правящий политический класс. Как отмечает Дж. Даймонд, в XIV веке китайское государство отказалось от дальнейшей разработки и внедрения сложного прядильного станка, приводимого в движение энергией воды; в XV веке были уничтожены или практически изъяты из обихода механические часы и в целом свёрнуто применение и разработка механических приспособлений; в 60—70-е гг. XX века «культурная революция» Мао Цзэдуна ознаменовалась бессмысленными экономическими, социальными и культурными разрушениями в масштабах всего Китая [111, с. 525—526]. Напротив, Европа проигрывала в экономическом, политическом и военном плане, но получала бесспорные преимущества в интеллектуальной сфере. С исторической точки зрения европейская раздробленность имела, по сути дела, уникальное культурное и инновационное значение.

Устойчивое единство Китая и постоянная раздробленность Европы существуют в широком географическом и историческом контексте. Наиболее экономически развитые территории современного Китая были впервые объединены в рамках единого государства ещё в 221 году до н. э. и оставались в таком состоянии почти все прошедшее с тех пор время. Несмотря на неоднократные попытки, Европе не удавалось достичь политического единства. Имперский проект государственного устройства Европы был отринут, и в XIV веке она была расколота на 1000 мелких независимых государств, в середине XV века — на 500, к 80-м гг. XX века она свела число политических образований до минимальной цифры 25, а сегодня снова расширилась до 40 [111, с. 526]. Попытки унификации под эгидой Европейского Союза встречают глухое упорное сопротивление национальных сил различных европейских стран, и философия мультикультурализма, судя по всему, все чаще и чаще сталкивается с таинственной иронией истории, отвергающей имперский унитаризм. В наше время Европа снова поражает всех своим блистательным культурным разнообразием и, невзирая на тенденцию к глобализации, продолжает искусно сопротивляться любым попыткам геополитической стандартизации в рамках имперской логики.

Согласно точке зрения Дж. Даймонда, причины доминирования Запада в Евразии заключаются в более разнообразных географических условиях Европы по сравнению с Китаем. Как он пишет, «Европа имеет чрезвычайно изломанную береговую линию, с пятью крупными полуостровами, которые по степени изолированности приближаются к островам и на каждом из которых развились собственные языки, этнические группы и политические образования: Греция, Италия, Португалия/Испания, Дания, Норвегия/Швеция. В Европе есть два острова (Британия и Ирландия), достаточно крупных, чтобы утвердиться в качестве политически самостоятельных территорий с собственными языками и этносами, а один из них (Британия) к тому же достаточно велик и близок к континенту, чтобы входить в число главных европейских

держав» [111, с. 526—527]. Высокие горы (Альпы, Пиренеи, Карпаты) разделили Европу на самостоятельные языковые, этнические и политические сегменты. Хотя это и мешало политическому объединению, но в целом не препятствовало распространению идей и технологий. Многообразие ландшафтов, климатических зон и этнических групп породило десятки или даже сотни государств, вовлечённых в непрерывную конкуренцию, и центры инновационной деятельности развивались в более благоприятных условиях европейского плюрализма, чем унифицированного государственного порядка в Китае. Творческие идеи попадали в поле жесточайшего соперничества, и неудивительно, что, если одно государство не давало ход какой-нибудь новации, находилось другое, которое брало её на вооружение. По сути, в Европе действовал своеобразный умножитель изобретений и открытий, и это побуждало отдельные общества либо последовать инновационному примеру, либо проиграть в экономической конкуренции.

Напротив, в географическом отношении Китай, по мнению Дж. Даймонда, был более однородным, чем Европа. Западные и восточные области Китая соединены двумя протяжёнными судоходными реками — Янцзы и Хуанхэ, образующими плодородные долины. В этих долинах с ранних пор возникли два крупных географических центра хозяйствования, и их весьма благоприятные условия для развития земледелия и торговли стимулировали тенденцию к политическому объединению страны. Поэтому на территории Китая почти всегда существовало единое централизованное государство, которое до середины XVIII века обеспечивало наиболее успешное в мире технологическое развитие китайского общества. Периоды раздробленности в китайской истории неизменно заканчивались восстановлением единовластия. Таким образом, география наделила территорию Китая изначальным преимуществом в области культурной диффузии. Разные домашние животные, культурные растения, технологии, изобретения в различных частях страны стали общим китайским достоянием. Однако единство страны и авторитарная власть таили в себе скрытые слабости, поскольку в условиях единовластия решение одного деспота могло заморозить целое направление технологии, что грозило Китаю военно-техническим и историческим отставанием [111, с. 528—529].

Политическое объединение Европы в рамках централизованного государства, напротив, оказалось нереалистической целью, хотя попытки её воплотить в грандиозных геополитических проектах предпринимались такими претенциозными и агрессивными завоевателями, как Карл Великий, Наполеон и Гитлер [111, с. 528]. В своё время политическая раздробленность континента способствовала развитию институтов демократии, свободы и частной инициативы, которые в условиях рыночной экономики оказались более успешными, чем централизованное управление и диктат бюрократии в Китае. Политическое единство китайского государства было весьма эффективным с точки зрения обороны страны и стабильности социального порядка, но бюрократическая инерция подавляла частную инициативу и предпринимательскую энергию активных людей. Напротив, в разобщённой и многообразной Европе индивидуалистическая культура и частная инициатива способствовали развитию капитализма, который, несмотря на периодические кризисы перепроизводства, сокрушил всех своих исторических противников и до сих пор доминирует в современном мире.

Таким образом, согласно концепции Дж. Даймонда, разнообразие этносов, культур, традиций и ландшафтов, обусловленное географией, стимулировало творческое процветание Европы, хотя в то же время таило в себе риски конфликтов и войн, которые до середины XX века были неизменным атрибутом европейской истории. Тем не менее плюрализм идей и новаций в европейской цивилизации сыграл решающую роль в её военно-технологическом превосходстве над остальным миром.

2.2. Исторический подход

Размышляя над вопросом о восхождении Запада, американский историк Уильям Макнил (1917—2016) использовал диффузионизм в качестве теоретической основы своего исследования. Согласно концепции культурной диффузии, всемирная история представляет собой единое целое как результат взаимопроникновения различных культур. Как считал У. Макнил, именно взаимодействие и взаимное влияние разных цивилизаций являются движущей силой социокультурного процесса, который обеспечивает не только устойчивый социальный порядок, но и исторического развитие. По его мнению, культурная коммуникация между различными народами способствуют тому, что разнообразные технические и технологические изобретения распространяются от одного народа к другому и приводят к изменениям в системе власти и социальных отношений [235]. При этом контакты между разными этносами не всегда носили лишь положительный характер, так как взаимодействие участников межкультурной коммуникации, приверженных самобытным культурным традициям, нередко осуществлялись в форме военных конфликтов, грабежей и завоеваний. Несмотря на издержки отдельных контактов, в целом социальные и культурные традиции народов взаимно обогащались, и это, несомненно, приносило им обоюдную пользу. С точки зрения У. Макнила, прежде всего военнотехнологические инновации и демографическая динамика, которая зависела от болезнетворных микробов и вирусов [428], обеспечили возвышение Запада.

Однако в ретроспективном предисловии ««Восхождение Запада» двадцать пять лет спустя» он утверждал, что важнейшим преимуществом европейских государств перед остальными заключалось в институтах рынка и политики. После 1500 года «некоторые... монархии и молодые национальные государства Европы продолжали предоставлять коммерсантам почти неограниченную свободу расширения коммерческой деятельности, в то время как в Китае и в большинстве стран мусульманского мира преобладали режимы, отрицательно относившиеся к накоплению частного капитала [235, с. 30]. Как указывал У. Макнил, азиатские монархи стремились заслужить репутацию добрых правителей, и поэтому они жёстко ограничивали большой бизнес, используя суровые налоги и строгий контроль цен в интересах потребителей. В результате крупные предприятия, а позже горнодобывающая промышленность и масштабное сельское хозяйство получили развитие скорее в Европе, чем в Азии. Это привело к расцвету западной цивилизации, которая до сих пор доминирует в мире [235, с. 30]. Таким образом, рыночные институты и политика европейских государств, поощрявшая свободную коммерческую деятельность, способствовали развитию крупного предпринимательства и, соответственно, подъёму Запада.

В капитальной трёхтомной работе «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.» [48; 49; 50] Фернан Бродель (1902—1985) предложил новый подход к исследованию исторической реальности. В традиционной историографии преобладала линейная репрезентация фактов прошлого. Однако социальное время, по его мнению, отличается от хронологического тем, что социально-историческая реальность изменяется в соответствии с разными временными ритмами. Поэтому изменения протекают в множественных временных формах, что, в свою очередь, существенно усложняет исторический процесс. Социальное время имеет определённое содержание и носит дискретный характер. Иначе говоря, различные исторические реалии изменяются сообразно разным временным формам, которым свойственны соответствующие отличительные особенности движения. Сложное, многозначное содержание социального времени требует интеграции всех наук о человеке. По сути, французский историк развивает междисциплинарный подход, основой которого служит историческая наука. «В самом деле, — писал Ф. Бродель, — лишь история способна объединить все науки о человеке, помочь им связать воедино их объяснения, наметить некую междисциплинарную

общественную науку... общественные науки, по моему мнению, не могут дать плодотворных результатов, если исходят только из настоящего, которого недостаточно для их построения. Они должны вновь обрести и использовать историческое измерение. Вне его не может быть успеха!» [48, с. XXX]

Временные рамки событийной истории не устраивают Ф. Броделя, и он предлагает концепцию краткого, среднего и долгого времени. Понятие длительной временной протяжённости (*la longue duree*) позволяет ему развить представление о множественности времён, воплощённых в различных структурах истории. Исторические структуры, связанные с пространством материальной жизни, существуют веками и тысячелетиями, и временной ритм их изменений чрезвычайно медленный. Этот огромный мир инертен, живуч и вечен. Человек, земля и космос пребывают в необычайно стабильном состоянии, и даже внешние воздействия, кажется, бессильны вызвать какие-нибудь малейшие отклонения. Возникает впечатление, будто время застыло в своем вековечном оцепенении, но в этой грандиозной неподвижности все равно происходят подспудные, глубинные изменения, способные когда-нибудь резко нарушить спокойный ход истории. Со временем это неизбежно происходит, и ранее неподвижный континент привычной, повседневной жизни оказывается во власти циклических конъюнктур и непредвиденных событий. В результате длительная временная протяжённость уступает своё место другому времени. В истории теперь доминируют циклы и события, и люди невольно оказываются на мировой сцене, на которой бал правит уже не рутина, а «мадам гильотина» или «товарищ маузер». Тем не менее вековые структуры не исчезают, хотя «шум и ярость» революционных перипетий слишком сильно искажает восприятие исторической действительности.

Таким образом, Ф. Бродель делит время на три компонента, которым соответствуют структуры пространства: материальная жизнь (материальная цивилизация), экономика и капитализм. Материальная жизнь является элементарной основой существования преобладающего большинства людей. По словам Ф. Броделя, «материальная жизнь — это люди и вещи, вещи и люди» [48, с. 1]. Она встречается повсеместно, в любой точке планеты, где живут человеческие существа. Люди вынуждены обмениваться продуктами и услугами, чаще всего в очень ограниченном пространстве, но именно такой обмен гарантирует им элементарное выживание в самых тягостных условиях. В повседневной жизни постоянно идёт суровая борьба с бедностью, нищетой, голодом и болезнями, и в эпоху Старого порядка (1400—1800) эти горести приобретали апокалиптический масштаб. В этой нескончаемой юдоли печали люди часто терпели ужасное поражение, но человеческий род вопреки всему выживал и продолжал свою трудную и трагическую жизнь. По утверждению Ф. Броделя, «до недавнего времени над историей людей неумолимо господствовала нездоровая биологическая среда» [46, с. 17]. Радостный миг земного бытия обычно воспринимался религиозным сознанием как пир во время чумы. Земная жизнь людей, краткая и неустойчивая, была проникнута страхом смерти, хотя все это в какой-то мере скрашивалось очень слабой надеждой на призрачное существование в потустороннем мире.

Итак, материальная цивилизация существует просто, монотонно, прозаично и по сути своей есть многовековая почва, обеспечивающая социально-биологическую жизнь огромного количества населения земного шара. Структуры повседневности устойчивы, стабильны и почти неподвижны, но именно в их глубинных процессах происходят незаметные изменения, которые рано или поздно вызывают крупные структурные преобразования в социальном мире.

Над материальной жизнью формируются структуры рыночной экономика. С точки зрения французского историка, экономика представляет собой такое же универсальное явление, как и повседневная материальная жизнь. В Старый период в неевропейских странах повсюду существовали рынки, включая даже страны Африки и доколумбовой Америки. Причём в них действовали те же самые механизмы и ухищрения обмена, какие были свойственны и европейским рынкам. «Над огромной массой повседневной материальной жизни растянула сеть своих

очагов рыночная экономика, постоянно поддерживающая жизнь своих структур» [46, с. 40]. Как считал Ф. Бродель, до XVIII века доминировала материальная жизнь, тогда как экономика и капитализм оставались в меньшинстве. Однако материальная цивилизация, города, деньги и торговля делали своё дело, и рыночная экономика успешно развивалась, несмотря на временные неудачи, порождённые демографическими, политическими, социальными и другими факторами, которые время от времени разрушительно вторгались в экономическую жизнь. Важнейшую роль в рыночной экономике играют деньги и города. «Деньги — это очень старое изобретение, если понимать под ними средство ускорения обмена. А без обмена нет общества. Что касается городов, то они существуют с доисторических времён. И то, и другое — это многовековые структуры самой обычной жизни. Но это также и мощные ускорители, способные адаптироваться к изменениям и, в свою очередь, их стимулировать» [46, с. 20—21].

Опыт мировой истории показывает, что борьба государства и города, как правило, завершалась победой государства. Однако вольности городов в Европе — это удивительное историческое явление. Другие города мира не знали такой свободы, какая была в европейских городах. Начиная с XI века возникло огромное множество городов, но лишь немногим из них предстояло сыграть большую роль в истории. Отдельные европейские города, несмотря на политическую силу государства, становились самостоятельными экономическими мирами и бросали вызов феодальной власти. По мнению Ф. Броделя, «чудом было то, что в первые великие века городского развития Европы полнейшую победу одержал именно город, во всяком случае в Италии, Фландрии и Германии. Он приобрёл довольно длительный опыт совершенно самостоятельной жизни — это колоссального масштаба событие, генезис которого отнюдь не удаётся очертить с полной достоверностью. Тем не менее ясно видны огромные его последствия» [48, с. 475]. Свободные европейские города построили самобытную цивилизацию, основой которой стали эксперименты в экономической, политической, социальной и других сферах городской жизни. Деревенской косности и отсталости вольные города противопоставил творчество, изобретательность, воображение и предприимчивость. Они организовали промышленность, ремесла, налоги, финансы, общественный кредит, таможи. Города изобрели государственные займы, торговлю на дальние расстояния, золотую монету, первичные формы торговых компаний и бухгалтерии. Несмотря на социальную борьбу внутри городской общины, город выступал единым фронтом против внешних врагов: сеньоров, государей, крестьян и других [48, с. 476]. Согласно Ф. Броделю, города существовали и в остальном мире, но социальные структуры тормозили их свободное развитие. Во всяком случае, городам в Китае или в Индии не удалось добиться свободы, характерной для отдельных европейских городов.

Важным новым институтом торговли стала биржа, которая осуществляла товарные операции, морские страховые сделки, вексельные операции и др. Биржа была оригинальным европейским изобретением, и этот фактор имел бесспорное экономическое значение. Новые рынки, прежде всего денежный и финансовый, стремились к самостоятельной организации, что, в свою очередь, усложняло экономическую жизнь, стимулируя разнообразные тенденции изменений в рыночной экономике. Это способствовало развитию новых экономических методов, средств и институтов. В начале XVII века новшеством стало возникновение в Амстердаме рынка ценных бумаг. Хотя фондовые биржи уже работали в итальянских городах Средиземного моря, новым в Амстердаме были объёмы, размах и свобода спекулятивных сделок. Биржевые игры сделали этот город исключительным местом в Европе, где процветали финансовые спекуляции, ухищрения и уловки вполне современного капиталистического вида. Тем не менее быстрый переход от бумаг к деньгам и наоборот был крайне важен для капитализма, так как это открывало широкие возможности не только для заманчивых спекуляций, но и финансового обеспечения предпринимательской деятельности. Вполне возможно, как предполагал Ф. Бродель, именно в этой лёгкой ликвидности, быстром обращении и заключается секрет деловых успехов Англии и Голландии. Ведь в остальном мире не было бирж как института, подобных

амстердамской, лондонской и другим, действовавшим в крупных европейских городах. Судя по всему, биржи служили одним из важнейших факторов формирования предпосылок генезиса современного капитализма [49, с. 87, 88, 101].

Исследуя миры-экономики, Ф. Бродель выделяет такой существенный компонент экономики, как капитализм. Он специально подчёркивает новизну своего исследовательского подхода. Суть новой методологической идеи состоит в том, что в своей исторической схеме он различает капитализм и рыночную экономику, хотя эти понятия в научной и популярной литературе традиционно отождествляют. Согласно концепции Ф. Броделя, над рынками «возвышаются активные иерархические социальные структуры. Они искажают ход обмена в свою пользу, расшатывают установившийся порядок. Стремясь к этому, а порой и не желая того специально, они порождают аномалии, „завихрения“ и дела свои ведут весьма своеобразными путями. На этом верхнем „этаже“ несколько крупных купцов Амстердама в XVIII в. или Генуи в XVI в. могли издали пошатнуть целые секторы европейской, а то и мировой экономики. Таким путём группы привилегированных действующих лиц втягивались в кругооборот и расчёты, о которых масса людей не имеет понятия» [48, с. XXXII]. В основном эта непрозрачная зона — сфера капитализма. Как раз здесь процветает капиталистическая экономика со своими противоречивыми явлениями и рисками. В условиях рыночной экономики капиталисты имеют бесспорное преимущество перед другими социальными группами. Они проникнуты безмерной жадностью обогащения, но у них также есть ум, энергия, деньги. Тем не менее этих условий, по мнению французского историка, недостаточно для возникновения капитализма. «Будучи привилегией немногих, капитализм немислим без активного пособничества общества. Он необходимо является реальностью социального и политического порядка и даже элементом цивилизации. Ибо необходимо, чтобы в известном роде все общество более или менее сознательно приняло его ценности» [46, с. 68]. Особую роль в развитии капитализма играет государство, которое может замедлить или ускорить развитие институтов и инструментов капиталистической экономики. Как утверждал Ф. Бродель, «капитализм торжествует лишь тогда, когда идентифицирует себя с государством, когда сам становится государством» [46, с. 69].

Дискутируя о причинах генезиса европейского капитализма, Ф. Бродель возражал против точки зрения М. Вебера, согласно которой «капитализм в современном смысле этого слова является не больше и не меньше как порождением протестантизма или, точнее, пуританства» [46, с. 70]. По мнению французского историка, ошибка М. Вебера заключается в том, что он изначально преувеличивал роль капитализма в современном мире. Дело в том, что протестанты ничего нового не придумали в сфере капитализма и «к северным странам лишь перешло то место, которое до них долгое время блистательно занимали старые центры средиземноморского капитализма. Они ничего не изобрели ни в технике, ни в ведении дел. Амстердам копирует Венецию, как Лондон вскоре будет копировать Амстердам, и как затем Нью-Йорк будет копировать Лондон. Каждый раз при этом сказывается смещение центра тяжести мировой экономики, происходящее по экономическим причинам, не затрагивающим собственную и тайную природу капитализма» [46, с. 70]. Отсюда следует, что исторический процесс зарождения и утверждения капитализма не был обусловлен протестантизмом. Получается, М. Вебер выдвинул остроумную, но неверную гипотезу. Протестанты играли важную роль в развитии капиталистического уклада в северо-западных странах Европы, но зачатки капитализма уже ранее существовали в отдельных городах Средиземного моря. Поэтому вряд ли протестантская этика имела решающее значение в генезисе капитализма. Между тем доминирующая роль Нидерландов и Амстердама отражала глубинные изменения, которые происходили в материальной цивилизации, рыночной экономике и капитализме той эпохи. В самом конце XVI века центр мировой экономики окончательно переместился из Средиземноморья в Северо-Западную Европу. Как известно, такие процессы периодически происходят в мировой истории, но это означает только то, что старые страны уступают место новым победителям. Понятно, что

в такой масштабной перестройке европейской экономики протестантская этика играла лишь косвенную роль.

В свою очередь, трёхчастная схема мира-экономики (материальная цивилизация, экономика, капитализм) позволила Ф. Броделю весьма убедительно обосновать институциональную гипотезу ускоренного исторического развития Запада. «Если сравнивать европейскую экономику с экономикой остального мира, то, как представляется, она обязана своим более быстрым развитием превосходству своих экономических инструментов и институтов — биржам и различным формам кредита» [46, с. 39]. В итоге причины возникновения европейского капитализма Ф. Бродель видел в том, что в Европе более успешно развивались экономические структуры, более эффективные, чем в других частях света, благодаря европейской свободе и адекватности капиталистической экономике.

Английский историк Клайв Понтинг (1946—2020) в книге «Всемирная история» [299] предлагает, по существу, альтернативную историческую концепцию. Согласно его точке зрения, в течение всей письменной истории Европа явно отставала от первых цивилизаций и находилась на периферии развитого мира. Первые государства в Европе возникли в Средиземноморье в III—II тыс. до н. э., а большую часть европейской территории почти до конца I тыс. н. э. по-прежнему населяли племена, не знавшие государственности. Европа в экономическом и социальном отношении сильно отставала от очагов древних цивилизаций — Египта, Месопотамии, Ирана, Индии и Китая. На протяжении древней и средневековой истории самые богатые и развитые государства существовали в Азии, и только в новое время Европа стала технологическим и экономическим лидером мира.

Однако большинство учёных, работающих в рамках мейнстрима социальных наук, предпочитают рассматривать Европу в эпоху великих географических открытий уже как самую передовую часть света. По мнению К. Понтинга, это фундаментальное заблуждение, которое противоречит объективным историческим фактам. Торговые отношения между Средиземноморьем и государствами на побережье Индийского океана свидетельствовали о том, что Запад больше нуждался в восточной продукции, чем Восток — в европейских товарах. Проблема заключалась в том, что европейская экономика в допромышленный период мало что могла предложить Востоку, и потому огромный поток драгоценных металлов шёл на восточные рынки в качестве оплаты за их товары. Вполне очевидно, что Восток доминировал в мировой торговле, и когда в Европе иссякли запасы золотых и серебряных денег, то европейская торговля на Востоке пришла в упадок. И только завоевание Америки кардинально изменило ситуацию в мировой торговле. Действительно, после 1500 года Европа смогла использовать ограбление Нового Света, чтобы с помощью его золота и серебра проникнуть в богатый торговый мир на побережье Индийского океана.

Причины неожиданного поражения доколумбовой Америки, согласно К. Понтингу, заключались в том, что Новый Свет был заселён людьми приблизительно в 12000 году до н. э., и поэтому неудивительно, что темп его развития отставал от темпа Евразии. Переход к сельскому хозяйству и возникновение первых деревень произошли в Мезоамерике лишь в 2000—1500 гг. до н. э. — почти на 6000 лет позднее, чем в Юго-Западной Азии. Самое первое относительно сложное общество появилось здесь после 1000 года до н. э., первые города и государства возникли лишь к началу нашей эры. Следовательно, поздний старт явился одной из главных причин существенного отставания ацтеков и инков от европейцев и их внезапного поражения в ходе европейского колониального завоевания [299, с. 118—119].

Как утверждает К. Понтинг, Европа не была доминирующей территорией в мире даже после открытия Америки. Европейцы смогли навязать свою волю индейцам только потому, что Новый Свет обладал более низким уровнем технического развития. К тому же аборигены не имели естественного иммунитета к опасным европейским болезням, которые нанесли им чудовищный демографический урон. По оценке К. Понтинга, общее население Северной и Южной

Америки уменьшилось к 1600 г. приблизительно с 70 млн. до 8 млн. человек [299, с. 524]. Напротив, влияние Европы на великие империи Азии было незначительным. В ходе соперничества в мировой торговле европейцы смогли установить лишь несколько торговых факторий вдоль побережья азиатских стран. Потребовались огромные усилия и несколько веков, чтобы ведущие европейские государства добились значительных изменений на мировой сцене. В общем, к середине XVIII века Европе все-таки удалось сравняться по богатству и могуществу с великими империями Востока [299, с. 529].

Несмотря на исторические перипетии в мировой политике, именно в Европе впервые произошёл переход от аграрного общества к индустриальному, и благодаря этому фактору промышленный Запад стал доминирующей силой в мире. С точки зрения К. Понтинга, такой переход был возможен в Китае уже в XI—XII вв., но это не случилось, потому что страна подверглась разрушительной внешней агрессии чжурчженей, а затем монголов [299, с. 682]. Он отвергает очень популярную идею об исключительности европейской цивилизации и считает, что предпосылки промышленной революции в Европе, в частности в Англии, сформировались в результате завоевания и ограбления Америки. Как он пишет, «единственным существенным преимуществом Европы было её географическое положение. Находясь на дальнем западном краю Евразии, этот регион получил возможность достигнуть Америки, обнаружив там общество, стоящее на значительно более низком уровне развития. Именно богатства, награбленные в обеих Америках, — сперва золото и серебро, затем плоды рабского труда на плантациях — позволили Европе нагнать остальные регионы Евразии. Затем западная Европа при помощи этих богатств купила себе путь к азиатским рынкам и обеспечила себе прочие преимущества» [299, с. 521]. По оценке К. Понтинга, европейское доминирование в мире продолжалось максимум с середины XIX века до начала сороковых годов XX века [299, с. 944]. Сегодня Европа представляет собой крупный экономический регион с очень высокими стандартами социального развития, но она уже не является мировой державой. Таким образом, опыт всемирной истории убедительно свидетельствует о неравномерности исторического развития стран и народов мира, и ни одна страна, даже огромная и могущественная, несмотря на её блестящие достижения в прошлом, не гарантирована от удивительных исторических взлётов и падений.

В фундаментальной работе «Почему властвует Запад... по крайней мере, пока ещё. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем» [257] британский историк и археолог Иэн Моррис исследует проблему доминирования Запада в последние два столетия мировой истории. Он пытается ответить на важнейший вопрос социальных наук: почему властвует Запад? Как он пишет, в эпоху промышленного переворота «европейские революционеры, реакционеры, романтики и реалисты со страстью принялись предаваться размышлениям на тему, почему Запад взял верх. В результате было создано ошеломляющее количество предположений и теорий. Возможно, наилучшим способом начать выяснение того, почему Запад властвует, будет выделение двух основных теоретических школ, которые я буду называть теориями «давней предопределённости» (long-term lock-in) и «краткосрочной случайности» (short-term accident)» [257, с. 19—20].

Согласно И. Моррису, сторонники теорий «давней предопределённости» считают, что в далёком прошлом существовал некий важнейший фактор, который детерминировал глубокие различия между Западом и Востоком. Разногласия, однако, возникают по поводу вопроса о конкретном факторе и о начале его воздействия на западную и восточную цивилизации. Как правило, приверженцы материального фактора рассматривают давность как длительный исторический период, который существует десятки тысяч лет, в то время как сторонники культурного фактора изучают историю лишь в тысячелетней ретроспективе. Несмотря на различия в оценках временных параметров, и те и другие считают, что превосходство Запада было предопределено в любом случае.

Критикуя теории «давней предопределённости», сторонники подхода «краткосрочной случайности» утверждают, что теории в рамках подхода «давней предопределённости» совершенно неверны. Авторы теорий «краткосрочной случайности» предполагают, что развитие Запада и Востока могло пойти по иному историческому сценарию, в котором победителем вполне мог быть Восток. Предпосылки глобального доминирования Запада, по их мнению, сформировались к 1800 году, когда Восток на время уступил Европе, но даже это носило случайный характер.

Как это ни удивительно, оба подхода объединяет согласие относительно того, что в последние два века Запад явно доминирует в мире.

Британский историк полагает, что учёные допускают серьёзную ошибку, когда ограничивают изыскания лишь предысторией либо современностью. Согласно его концепции, человеческую историю следует рассматривать на всем её протяжении как единый сюжет, как общую глобальную картину. Он предпринимает грандиозное сравнительное изучение двух цивилизаций с момента их зарождения и до сегодняшнего дня, на протяжении истории человечества, вмещающей в себя тысячелетия. С этой целью он использует понятие «социальное развитие». По его определению, «...социальное развитие — способность обществ добиваться решения каких-либо задач — формировать свою физическую, экономическую, социальную и интеллектуальную среду в соответствии с их собственными целями» [257, с. 31]. Логика его исторического исследования вполне очевидна: социальному развитию необходимо дать качественную и количественную характеристику. Количественные показатели позволяют сделать сравнительный анализ исторического развития Запада и Востока ясным, точным и конкретным, что, естественно, избавит исследовательские обобщения и выводы от многих неверных спекуляций. «В конце концов, — пишет И. Моррис, — не какие-то громадные безличные силы, а именно люди „из плоти и крови“ делают в этом мире всё, что касается жизни, смерти, созидания и борьбы. Однако я утверждаю, что — вопреки всему этому „шуму и ярости“ (*Yet behind all the sound fury*), — прошлое тем не менее имеет свои строгие закономерности, и с помощью надлежащих инструментов историки могут увидеть, что они собой представляют, и даже объяснить их» [257, с. 33]. Он предлагает использовать такие инструменты, как биология, социология и география. Биологический подход позволяет понять, что «люди — умные шимпанзе» [257, с. 33]. Отсюда следует, что 1) мы, как часть царства животных, извлекаем из окружающей среды энергию и преобразуем её в своих интересах; 2) мы любознательные существа; 3) большие группы людей подобны друг другу [257, с. 33]. Эти теоретические аксиомы не нуждаются в дополнительных аргументах. Тем не менее третье положение особенно интересно в контексте исторической макросоциологии. Действительно, действия больших социальных групп людей, несмотря на субъективизм отдельной личности, в аналогичных обстоятельствах осуществляются аналогичным образом. Во всяком случае, в большой истории поведение преобладающего большинства людей нивелируется и становится в итоге примерно одинаковым или очень сходным, хотя, разумеется, ментальные особенности играют специфическую роль в социокультурной жизни этносов и народов.

По мнению И. Морриса, социология показывает, что вызывает социальные изменения и какие последствия эти изменения порождают. В этом социальном процессе принимают участие все члены общества, причём это участие имеет весьма специфические формы. Как он утверждает, «причинами перемен являются ленивые, жадные испуганные люди, которые ищут более лёгкие, более прибыльные и более безопасные способы что-либо делать. И они редко знают, что они делают» [257, с. 40]. Опыт истории свидетельствует, что перемены начинаются тогда, когда возникают критические обстоятельства. Люди решают с тем или иным успехом свои задачи, но в случае неудачи они обречены на трудные времена и даже полный крах социальной системы. Успехи людей, особенно в демографическом воспроизводстве и в извлечении энергии из окружающей среды, приводят к тому, что увеличивается эксплуатация существую-

щих в тот момент ресурсов. С точки зрения И. Морриса, механизм, с помощью которого люди добивались успеха, начинает со временем превращаться в свою противоположность. Другими словами, механизм успеха теперь начинает подрывать то, что способствовало развитию общества. В обществе развиваются силы, которые подрывают основы социального развития, что даёт основание И. Моррису назвать это «парадоксом развития» [257, с. 35]: успех порождает новые проблемы.

Люди постоянно сталкиваются с проблемами развития, и поэтому вынуждены делать трудный выбор. Поскольку люди всегда сталкиваются с проблемами и решают их более или менее успешно, то уровень социального развития продолжает расти. В истории каждого общества периодически встречаются критические ситуации, и нужны очень глубокие преобразования, чтобы преодолеть эти невероятные трудности. Если обществу не удаётся решить проблему, которая носит системный характер, то это вызывает острую социальную борьбу и даже системный кризис, который может завершиться сама настоящей катастрофой общества.

Согласно концепции И. Морриса, биология и социология объясняют большую часть картины истории. Биологические и социологические законы являются константами, которые верны в любом обществе и в любое время. Иначе говоря, эти законы говорят нам о человечестве в целом, но они не могут объяснить различие между человеческими обществами. Поэтому нужен третий инструмент — география, которая объясняет, почему Запад властвует. Разумеется, в этом не следует искать интенций географического детерминизма. Как полагает американский историк, «географические отличия оказывают долгосрочное влияние, но они никогда не приводят к „предопределённости“». То, что расценивается как географическое преимущество на первом этапе социального развития, может не иметь значения либо может быть явно неблагоприятным фактором на другом этапе. Можно сказать, что хотя география является движущей силой социального развития, однако социальное развитие, в свою очередь, определяет значение географии. Это «улица с двухсторонним движением» [257, с. 37].

По мнению И. Морриса, развитие Запада и Востока следует рассмотреть в географическом аспекте, который позволяет выявить различие между этими двумя основными типами человеческой цивилизации. «География не предопределяла историю, поскольку географические преимущества всегда в конечном счёте начинали работать против самих себя. Они являются движущей силой социального развития, однако в ходе этого процесса социальное развитие изменяет значение географии» [257, с. 39]. На самом деле, любой географический фактор может быть в одно время громадным преимуществом, тогда как в другое время — громадным недостатком.

В историческом процессе огромную роль играет закономерность, названная И. Моррисом «преимуществами отсталости» [257, с. 40]. Действительно, многие факторы, которые раньше способствовали поступательному развитию общества, в другое время могут тормозить его развитие. Преимущества отсталости — это своего рода механизм исторического развития, который не гарантирует абсолютного результата и избавляет историю от фаталистической предопределённости. Лидерство любого общества в области социального развития не бывает совершенно стабильным и окончательным. Поскольку другие страны обладают преимуществами отсталости, то в определённый исторический момент они могут воспользоваться этими преимуществами. Вот почему мировая история развивается неравномерно, и неравномерность исторического развития различных стран и народов обусловлена как раз преимуществами отсталости. В мировой истории эта закономерность даёт хороший исторический шанс, чтобы выйти из исторического тупика и встать на путь экономического роста и быстрого социального развития. Как считает И. Моррис, преимущества отсталости проявляются также в том, что самый развитый регион в рамках каждого центра со временем меняет своё месторасположение. В общем, преимущества отсталости открывают новые возможности для социального развития некоторых стран, чтобы преодолеть или уменьшить разрыв между развитыми

и менее развитыми обществами. Преимущества отсталости придают мировой истории непредсказуемый характер, поскольку в определённый исторический момент другие страны могут воспользоваться внезапно возникшими шансами. Однако предвидеть эти шансы пока крайне трудно, практически невозможно, так как сделать достаточно точный прогноз наука ещё не в состоянии. В контексте неравномерности развития различных стран и народов мира история уже не выглядит фаталистической. Как показывает исторический опыт, экономическая отсталость страны не является абсолютной, поскольку в новой исторической ситуации всегда может появиться шанс воспользоваться преимуществами отсталости.

Сравнительное изучение Запада и Востока, с точки зрения И. Морриса, требует точных, релевантных критериев их социального развития. Без количественных показателей сравнительный анализ рискует вырождаться в абстрактные спекуляции. Но что измерять? На этот вопрос не так-то просто ответить. Выбор параметров социального развития — исключительно трудная методологическая проблема, вызывающая бесконечные споры среди учёных. Несмотря на все трудности, И. Моррис предлагает следующие параметры социального развития [257, с. 155—157]: 1) количество получаемой энергии; 2) урбанизм; 3) объем обрабатываемой информации; 4) способность вести войну. Эти критерии, полагает он, далеко не совершенны, но они дают довольно точную картину долговременных закономерностей социального развития человеческих обществ.

Делая сравнительный анализ цивилизационного развития Запада и Востока, И. Моррис выдвигает весьма оригинальную идею: в состав Запада он включает Ближний Восток. В результате этой географической реконфигурации Запад получает основательное превосходство над Востоком. Согласно его концепции, основным очагом западных древних цивилизаций был регион Холмистых склонов, где впервые возникло сельское хозяйство. Люди начали заниматься земледелием, получив заметное изначальное преимущество перед древними цивилизациями Востока.

На нашей планете 20 000 лет назад началось потепление, которое сменялось то похолоданием, то потеплением. Только после 14 000 лет до н. э. начался устойчивый рост температуры. Потом этот процесс ускорился, и климат на планете стал почти таким же, как сегодня. Ледник таял, и огромные территории на севере освобождались от гигантского массива льда и становились пригодными для жизни первобытных охотников и собирателей. Глобальное потепление способствовало распространению растений и животных далеко на север, в широты, где ещё недавно был ледник. Таяние гигантского ледника привело к планетарным переменам: уровень Мирового океана повысился, климат стал более влажным. На новые земли, свободные от ледяного покрова, двинулись люди. Больше солнечного света означало больше растений, больше животных и, соответственно, больше изменений в жизни охотников-собирателей. Разнообразные природные условия и обильные ресурсы вызвали рост населения, и люди новокаменного века делали попытки перейти к оседлому образу жизни. Как утверждает И. Моррис, «больше всего от глобального потепления выиграли те, кто жил в полосе „Счастливых широт“, — примерно от 20° до 35° северной широты в Старом Свете и от 15° южной широты до 20° северной широты в Новом Свете. Растения и животные, сосредоточившись в этой умеренной зоне во время ледниковой эпохи, после 12 700-х годов до н. э. резко умножились в числе» [257, с. 93].

Вследствие отступления ледника климат в субтропической зоне становился все более засушливым. По мере роста населения природных ресурсов уже не хватало и нужны были новые технологические возможности, чтобы обеспечить людей пищей. В то же время на Западе и на Востоке в полосе «Счастливых широт» сложились особенно благоприятные условия для роста и развития диких злаков. Многообразный мир флоры и фауны стал главным условием зарождения земледелия и скотоводства. Первые земледельцы стали не просто использовать дикие злаки, но и выращивать культурные растения, которые давали значительный урожай. Это были сложные агрономические эксперименты, благодаря которым произошёл настоящий

переворот в добытии пищи. Люди научились выращивать съедобные растения и создавать постоянные запасы пищи.

Как указывает И. Моррис, впервые земледелие и скотоводство возникли на Ближнем Востоке, на Холмистых склонах в 10 тысячелетии до н. э. Первые земледельцы возделывали пшеницу, рожь, ячмень, горох. Они сумели также одомашнить многих диких животных. Сначала в качестве скота были одомашнены овца и коза. Собака была приручена задолго до возникновения земледелия. Диких животных одомашнивали прежде всего ради мяса, но потом люди обнаружили, что скот обладает другими полезными свойствами. Он может быть тягловой силой для вспашки земли, а также давать молоко, шерсть, кожу и удобрение. Возникновение земледелия явилось эпохальным событием, переходом от присваивающего хозяйства к хозяйству производящему. Если раньше человек лишь собирал дикие растения, то теперь он их успешно культивировал в собственных целях. Земледелие оказало качественное и далекоидущее воздействие на общество, изменив не только питание людей, но и социальные отношения.

Человек, таким образом, активно приспособливал окружающий мир к своим потребностям, и у него появились постоянные запасы пищи, что открывало путь к устойчивой оседлости и формированию нового общественного уклада. В прошлом людям приходилось следовать за пищей, постоянно перемещаясь, то теперь жизнь проходила в одном и том же месте, которое постепенно становилось их родиной. Производство продуктов питания повлекло за собой изменение всех сторон жизни, включая социальные и религиозные представления. Несмотря на болезни, человеческая популяция неуклонно росла. В результате увеличивалось число людей, освобождённых от сельскохозяйственных работ. Они могли развивать ремесленные навыки и заниматься изготовлением домашней утвари и обработкой металла. Земледельческие общины становились все более дифференцированными. Различия в благосостоянии становились все заметнее, и у людей начинало складываться представление о социальном статусе. На смену примитивному эгалитарному обществу охотников-собираателей приходило сложное иерархическое общество.

К 3800 году до н. э. мир начал становиться прохладнее. Похолодание оказало негативное воздействие на земледелие Месопотамии. Изменение климата требовала от земледельческих обществ Месопотамии правильного решения. Цена ошибки была слишком велика: бедность, голод и, возможно, голодная смерть. Земледельческие общества Месопотамии нашли ответ на эту очень плохую ситуацию в новых социальных технологиях: в централизованной администрации, городах и государствах. Это неожиданное решение позволило повысить уровень интенсификации сельского хозяйства, ремёсел, торговли и общественной жизни. Как отмечает И. Моррис, «организация превратила деревни на территории Холмистых склонов и по берегам Хуанхэ в города, государства и империи; неудачи организации приводили к их падению» [257, с. 187]. Судя по всему, ведущую роль в этих процессах играли религиозные храмы и жрецы, которые укрепили свою роль в качестве интеллектуальной элиты земледельческих обществ.

По мере роста населения в земледельческих обществах Месопотамии нарастала нагрузка на землю, появлялись новые проблемы, и поэтому нужны были инновации. Одним из самых важных достижений древних цивилизаций Месопотамии была ирригация. Земледельцы рыли каналы для орошения полей и отводили воду из рек в водохранилища, чтобы запасти её на случай засухи. Когда были исчерпаны ресурсы деревни, жители Месопотамии создали первые города и государства, чтобы увеличить возможности социального развития. Торговля между городом и деревней стимулировала развитие сельского хозяйства. После этого некоторые города и государства настолько преуспели, что у них тоже возникли проблемы с ресурсами, и они трансформировались в империи. Первая империя в истории человечества была основана Саргоном I Аккадским в 2334 году до н. э. Примерно в это время Шумер разделился на две страны — Аккад и Шумер. Саргон начинал свою карьеру как придворный царя аккадского города Киш. Вероятно, совершив переворот, он провозгласил себя царём, избрав столи-

цей государства небольшой город Аккад. Затем он начал экспансионистские завоевания, объединив под своей властью Шумер и Аккад. Таким образом, на смену меняющейся гегемонии городов-государств в Месопотамии пришло господство империй. Эти ранние империи были, как правило, неустойчивыми и недолговечными, при этом успех их зависел от силы правителей. Покорённые государства принуждали платить дань, но фактически не оккупировали, поэтому при слабом правителе они могли восстановить свою независимость.

В результате усложнения аграрных обществ и развития торговли появилась потребность в новых способах коммуникации. Письмо изобрели древние шумеры примерно в 3200 году до н. э. Это было вызвано необходимостью учитывать имущество и вести записи о торговых операциях. Писцы вели учёт на табличках из сырой глины. Знаки наносили тростниковой палочкой, которую поворачивали под углом и вдавливали во влажную глину. Получавшиеся знаки состояли из характерных клинообразных чёрточек, отсюда и название «клинопись». Писать умели только специально обученные писцы. Письменность и её развитие, несомненно, стали грандиозным достижением в интеллектуальной истории человечества.

Итак, на Ближнем Востоке были изобретены важнейшие социальные технологии — земледелие, скотоводство, деревня, город, письменность, государство, империя, — которые стали основой человеческой цивилизации и индекса социального развития. То, что цивилизация впервые возникла на территории Ближнего Востока, объясняется, по мнению И. Морриса, климатическими и географическими факторами. В конце последнего ледникового периода в этом регионе с плодородными почвами и небольшими, но регулярными осадками росли многочисленные дикорастущие злаки и бобовые. Эти весьма благоприятные условия способствовали превращению местных охотников-собираателей в первые постоянные земледельческие общины. Со временем эти общины развились в вождества, затем появились древнейшие города-государства, а в конечном счёте — империи.

Процессы одомашнивания диких животных начались на Холмистых склонах за 10 000 лет до н. э., в то время как на Востоке подобные процессы произошли через два тысячелетия позднее. Это было весьма внушительное историческое отставание Востока. Иначе говоря, Запад получил фору почти в 2000 лет, и преодолеть этот огромный разрыв было чрезвычайно трудно. Таким образом, количественные показатели социального развития свидетельствуют о том, что историческое лидерство захватил Запад. Прямолинейная логика подсказывает, что никакого шанса догнать лидера у Востока практически не было и он навсегда был обречён оставаться историческим аутсайдером в социальном развитии. Однако, как известно, в истории человечества действует закон неравномерного развития стран и народов, который И. Моррис называет «преимуществами отсталости». Благодаря этой закономерности у Востока периодически появлялись шансы ликвидировать отставание в социальном развитии.

К времени 3800 лет до н. э. сельское хозяйство едва затронуло сухие периферийные зоны Китая. Наступление более сухого и прохладного климата не привело к образованию здесь городов и государств, но в IV тысячелетии в Китае происходил устойчивый рост населения. Расчищались леса, и возникали новые деревни, а прежние деревни становились небольшими городами. Восток двигался по тому же пути, что и Запад, но с разницей по крайней мере на 20 столетий. В Китае религиозные специалисты превратились в правящую элиту в период между 2500 и 2000 годами до н. э. Во многом они действовали также, как и в Месопотамии тысячами ранее, используя аналогичные идеологические технологии — храмы и музыку.

После 2200 лет до н. э. древняя Месопотамия, как считает И. Моррис, погрузилась в кризис. «Социальное развитие порождает своих победителей и проигравших, новые классы богачей и бедняков, новые отношения между мужчинами и женщинами и между старыми и молодыми. Она даже создаёт целые новые центры, когда преимущества отсталости предоставляют возможности тем, кто прежде играл незначительную роль. Его рост зависит от сообществ, становящихся более крупными, более сложными и более трудными для управления. Чем более

оно возрастает, тем больше создают угрозу для себя. Отсюда и парадокс: социальное развитие само порождает те силы, которые его подрывают» [257, с. 201]. Около 2200 лет до н. э. царство Аккада и Шумера поразил серьёзный государственный кризис. Система централизованного управления была подорвана. Разрушение государственного перераспределения ресурсов вызвало весьма тяжкие социальные последствия. Значительная часть населения, которая не занималась сельским хозяйством — знать, жрецы, бюрократия, ремесленники, торговцы, — была обречена на крайние лишения и горести. Они столкнулись с настоящим голодом и голодной смертью, и все это чрезвычайно обостряло социальную ситуацию в месопотамских обществах. Массовые беспорядки и сражения усугублялись вторжениями иноземных захватчиков. Мигранты с периферии вторгались на территорию Месопотамии, но Аккадская империя была слишком слаба, чтобы остановить эти вторжения. Вооружённые силы империи сами пришли в полное расстройство, так как экономические неурядицы подрывали государственные финансы. Некоторые жители Месопотамии считали аккадских царей завоевателями, и, когда царь не справился со своими прямыми обязанностями по защите населения страны, он встретил сопротивление со стороны различных слоёв общества, прежде всего жрецов. Армия Аккадской империи становилась всё меньше и меньше, а полководцы сами провозглашали себя царями. В этой сумбурной обстановке кочевники захватывали и грабили города Месопотамии. Империя не выдержала таких страшных ударов и стала разваливаться на отдельные части. Теперь каждый город был сам за себя, и война между ними лишь усиливала социальный хаос и разгул насилия. Около 2150 года до н. э. Аккад окончательно развалился на маленькие независимые государства, сражавшиеся с кочевниками и друг с другом. Некоторые военачальники процветали, но в условиях кризиса количество продукции, получаемой крестьянами, стремительно сокращалось.

Крушение Аккада привело к тому, что город Ур создал новую империю, хотя она была меньше размером, чем аккадская. Однако, несмотря на отчаянные усилия царей Ура и временную стабилизацию, их империя также развалилась. Около 2020 года до н. э. произошёл государственный финансовый крах. В стране свирепствовал голод, беспорядок и хаос. В 2004 году до н. э. захватчики опустошили город Ур и увели его последнего царя в рабство. В итоге Месопотамия распалась на части, но окончательный коллапс, впрочем, не произошёл. В результате этого кризиса в общественном строе произошли существенные изменения: крупные централизованные хозяйства исчезли. Государственное хозяйство осталось большим, но царская и храмовая земли были разделены на отдельные участки. На этих земельных наделах работали мелкие пользователи и владельцы земли, несущие соответствующие обязательства перед государством. По оценке И. Морриса, к 2000 году до н. э. социальное развитие на Западе, несмотря на кризис в древней Месопотамии, было почти на 50% выше, чем за 3000 лет до н. э. [257, с. 201]. Уровень социального развития продолжал расти, и общества Запада становились более крупными, развитыми и сложными, чем в прошлом.

В XIII веке до н. э. на Западе опять повторился сценарий событий за 2200 лет до н. э., вызвавший миграции и крушения государств. Великие державы в центре начали терять контроль над окраинами, которые они сами же и создали. Люди начали перемещаться в центры, и с каждым годом их количество неуклонно возрастало. Потом все это вылилось в беспорядочные массовые миграции и разрушения. По смутным свидетельствам письменных источников, опустошительные нападения, грабежи и сражения происходили повсюду. Греческие, хеттские, сирийские города сгорели в огне. Численность населения, уровень мастерства ремесленников и ожидаемая продолжительность жизни сократились: наступили «тёмные века». В этот же период погибла Хеттская империя, которая вообще исчезла из истории. Египет с большим трудом пытался удерживать контроль над мигрантами и набегами извне. Возрастали масштабы голода, так как жители деревень бросали свои поля. К времени 1100 лет до н. э. уже сам Египет распался на части. Ассирия утратила контроль над сельской местностью из-за передвижения

арамейских народов. В 1100 году до н. э. поля лежали необработанными, и в стране воцарился голод.

И снова Запад столкнулся с парадоксом социального развития. Как пишет И. Моррис, «рост социального развития экономики центров, сопровождаемый все большим переплетением экономики, общественной жизни и культуры центров и соседних регионов, приводит к увеличению размеров центров, к большему овладению ими окружающей средой и опять-таки к подъёму социального развития. Однако ценой растущей сложности была растущая хрупкость. Это было и остаётся центральным элементом парадокса социального развития» [257, с. 197—198]. По оценке И. Морриса, впервые уровень социального развития Запада действительно упал. Цифры по каждой характеристике стали более низкими: к времени 1000 лет до н. э. люди получали меньше энергии, жили в меньших по размеру городах, имели более слабые армии и реже пользовались письменностью, чем их предшественники около 1250 года до н. э. Показатели упали до уровня, который имел место за 600 лет до этого [257, с. 225].

В конце ледниковой эпохи, полагает И. Моррис, Запад действительно взял хороший старт, но его преимущество в социальном развитии не было устойчивым, так как в некоторые периоды времени оно возрастало, в некоторые — сокращалось. К 400 году показатель социального развития Востока снизился на более чем 10 процентов, а к 500 году соответствующий показатель Запада снизился на 20 процентов [257, с. 286].

Системный кризис Римской империи в первой половине I тысячелетия, по мнению И. Морриса, был вызван совокупностью факторов, которые в результате взаимного усиления запустили своего рода цепную реакцию. Вековой основой империи была многочисленная и сильная римская армия, имевшая организационное и технологическое превосходство над врагами. Армия представляла собой решающую силу, поскольку благодаря именно ей была создана обширная и могущественная империя. Однако в III веке Рим был вынужден изменить свою геополитику и перейти от наступательной стратегии к оборонительной. Римская империя стала подвергаться внешним нападениям, особенно частым и масштабным по линии Рейна и Дуная. Этот разрушительный процесс имел опасную тенденцию к эскалации. Смена геополитической стратегии вызвала серьёзные изменения в структуре римской армии. Внезапные нападения варварских племён потребовали существенной реорганизации традиционной римской армии, чтобы своевременно реагировать на новые военные угрозы. В результате реформы армия была разделена на две части: на пограничную и манёвренную. Главная задача пограничной армии состояла в том, чтобы постоянно защищать границы Римской империи. Манёвренная армия должна была отражать наиболее крупные вторжения врагов в приграничные и глубинные районы империи. Положение в военной сфере осложнялось тем, что германские племена переживали период разложения родового строя. Этот процесс сопровождался выделением племенной знати, которая объединяла вокруг себя военные дружины. Воинственные дружинники мечтали о походах и грабежах богатых римских городов. Варварские отряды численно возрастали, в то время как римское войско неуклонно уменьшалось. Упадок экономики серьёзно ослаблял римскую армию, которой приходилось оборонять от внешних нападений огромную территорию. Успешная защита империи было возможна только в том случае, если имелось многочисленная и сильная армия. Однако такая армия имела один существенный недостаток: для её содержания требовались колоссальные средства.

На территории империи периодически вспыхивали страшные эпидемии. В 165 году началась эпидемия, которая буквально опустошила римские войска в Сирии, сосредоточенные для войны с Парфией. В III веке уже по всей империи происходили вспышки чумы. Это привело к ослаблению социальной структуры империи, что весьма негативно сказалось на её военном потенциале. Упадок экономики, рост налогов, инфляция, эпидемии и уменьшение численности населения крайне осложняли комплектование римской армии. Массовое уклонение от военной службы ухудшало качественный и количественный состав римского войска, которое

рисковало утратить своё организационное и технологическое превосходство над противником [257, с. 311—312].

Императоры, в свою очередь, очень сильно зависели от армии, поскольку полководцы боролись между собой за власть и могли совершать государственные перевороты. На протяжении всей истории Римской империи происходили гражданские войны, которые наносили болезненные удары по авторитету политической системы Рима. Варвары видели слабость Римской империи и все чаще вторгались в её пределы. Однако в условиях социального и экономического упадка армия уже не могла надёжно защищать границы от внешних нападений. Реформы Диоклетиана и Константина в какой-то мере укрепили государственность, и положение Римской империи временно упрочилось, но её кризис был уже необратим. Окончательный крах имперской системы был лишь вопросом времени и места событий [257, с. 315].

В конце IV века варварские племена усилили натиск на Римскую империю. Число нападений возрастало с каждым годом, тогда как численность римской армии неуклонно сокращалась. Бедные земледельцы были уже не способны заплатить огромные налоги и, разоряясь под их непосильным бременем, бросали свои земельные наделы. Эти деструктивные процессы происходили в самоподстегивающемся режиме, ускоряя крах имперской системы.

Ситуация на границе Западной Римской империи крайне обострилась в связи с Великим переселением народов. В конце IV—V вв. гунны завоевали и объединили вокруг себя многочисленные народы и племена, и эта огромная коалиция, двигаясь по степи на запад, вытесняла другие племена в сторону империи. В результате готы оказались на территории Восточной Римской империи. В 378 году в битве при Адрианополе готы разгромили восточноримскую армию и убили императора Валента. В 410 году готы во главе с Аларихом двинулись на слабозащищённый Рим, и во время похода к ним присоединились беглые рабы и колоны. 24 августа 410 года готы, рабы и колоны взяли Рим и жестоко разграбили его. Падение Рима было воспринято современниками как грандиозная историческая катастрофа [257, с. 317—318].

В 441 году гунны во главе с вождём Атиллой обрушились на города Балканского полуострова и жестоко разграбили их. Восточная Римская империя пережила страшные потрясения, и император Феодосий II вынужден был даже платить дань Атиле. Затем варвары двинулись на территорию Западноримской империи, и римлян охватил настоящий ужас в ожидании грабежей и казней. Церковники воспринимали Атилу как «бич божий». В июне 451 года на Каталунских полях произошло одно из самых кровопролитных сражений древности. Объединённое войско во главе с римским полководцем Аэцием, состоявшее из римской армии и варварских германских отрядов, нанесло поражение гуннам.

Однако в 455 году Рим был разграблен вандалами. Западная Римская империя агонизировала. В 476 году, когда был низложен последний император Ромул Августул, она прекратила своё историческое существование. «К этому моменту, — утверждает И. Моррис, — сохранение империи в масштабах всего Средиземноморья было за пределами возможности любого человека. И какими бы неистовыми не были маневрирование, политические ухищрения и убийства в V веке, они не сильно смогли бы изменить реалии экономического упадка, политического развала и миграций» [257, с. 320].

Безусловно, Восток сумел воспользоваться возможностью, которая появилась в VI веке, чтобы сократить своё отставание от Запада, тем более что падение Западной Римской империи серьёзно подорвало показатели социального развития западного мира.

Согласно И. Моррису, судьба китайской империи Хань во многом была схожа с судьбой Римской империи. Династия Хань, основанная Лю Баном в 202 году до н. э., создала мощное централизованное государство и правила Китаем более 400 лет. Основной заботой ханьских императоров являлась защита северной границы от многочисленных кочевников. Были созданы кавалерийские эскадроны, набираемые, как правило, из самих кочевников. Китайские императоры широко применяли стратегию «использования варваров для борьбы с варварами».

Многих из этих кочевников расселяли в пределах империи, чтобы использовать их для защиты границы. В результате такой политики произошла милитаризация границы и демилитаризация внутренних районов государства. Аристократия не желала служить в китайской армии, которая состояла из кочевников и находилась где-то далеко на границе со степью. Императорская власть получила очевидные выгоды от этой политики, поскольку аристократы не могли использовать армию против императора. В то же время государство Хань не имело какого-нибудь значительного инструмента, чтобы можно было воздействовать на зарвавшихся аристократов. Это вызвало далекоидущие социальные последствия. Аристократия постепенно увеличивала своё экономическую мощь, и крестьяне оказывались во все большей зависимости от крупных аристократов. Последние притесняли местных крестьян и поглощали их хозяйства, создавая свои огромные поместья. По мере того как росло экономическое могущество крупных аристократов, они стремились к политической независимости от центра. По сути, в империи формировались предпосылки политической раздробленности и междоусобиц. Императоры пытались различными способами противодействовать этому, но правительственные меры давали лишь кратковременный эффект. В частности, центральная императорская власть ограничивала размер поместья, а также количество крестьян, которыми крупный аристократ имел право владеть. Также практиковалось распределение земли в пользу свободных мелких земледельцев, способных платить налоги в государственную казну [257, с. 302—303].

Ханьский Китай сделал значительные территориальные приобретения, но многочисленные военные кампании вызвали финансовый кризис. Императора У-ди решил увеличить налоги и установил государственную монополию на соль и железо. Это вызвало недовольство населения и споры в правительстве о роли государства в экономической политике. После смерти императора У-ди династия Хань пришла в упадок: центральная власть ослабла, евнухи стали оказывать огромное влияние на поведение императоров. Дворцовые интриги подрывали основы государственного управления, и высшая бюрократия всё более и более занималась своими частными делами. Состояние экономики ухудшалось, крупные аристократы продолжали притеснять крестьян и увеличивать свои огромные земельные владения, крестьянские хозяйства и торговля приходили в упадок, массовым явлением стало уклонение от налогов. Экономические и политические трудности усугублялись природными бедствиями. В начале I века н. э. произошло сильное наводнение на Жёлтой реке, которое привело к изменению южной части её течения. В 9 году н. э. Ван Ман, который был регентом малолетних наследников престола, узурпировал трон. Он приказал ликвидировать крупные земельные владения, но в 23 году н. э. он был убит. В 25 году н. э. Гуан У-ди восстановил династию Хань. Столица Китая была перенесена в Лоян, который стал самым населённым городом в мире. Это была эпоха научного и технического прогресса. Династия Хань распространила свою власть на южную часть Китая. Для защиты империи от кочевников была построена Великая Китайская стена [257, с. 303].

Однако поздние годы династии Хань были ослаблены борьбой группировок за власть. Беспорядки, восстания и опустошительные вторжения кочевников стали привычным явлением для большинства жителей Китая. В 184 году началось восстание «Жёлтых повязок». Восставшие грабили и разоряли крупные имения, сжигали правительственные здания, убивали богатей и чиновников. В этих условиях военачальники развязали борьбу за власть. Полководец Цао Цао отчаянно боролся с всеобщим хаосом, но его попытки укрепить центральную власть не увенчались успехом. В 220 году Цао Цао умер, и династия Хань погибла [257, с. 306—308].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.